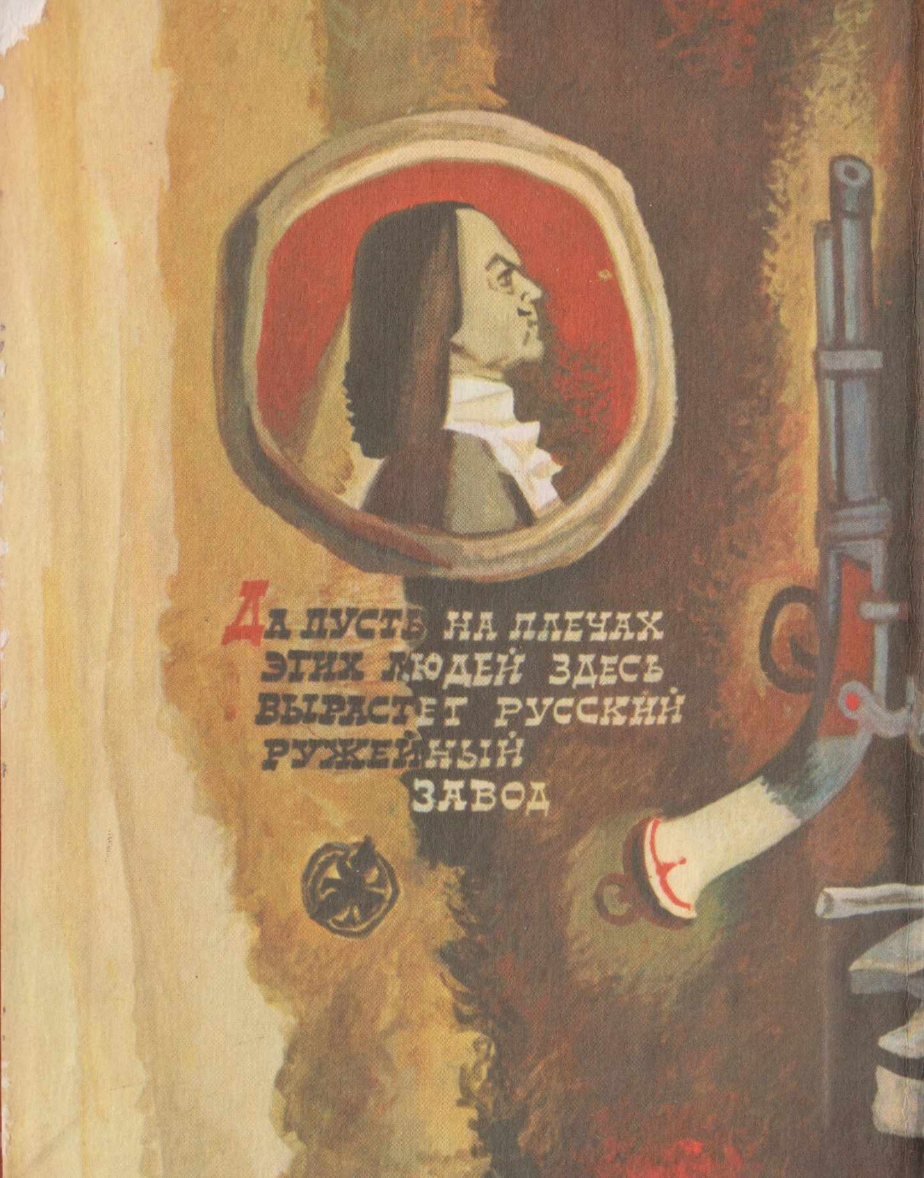
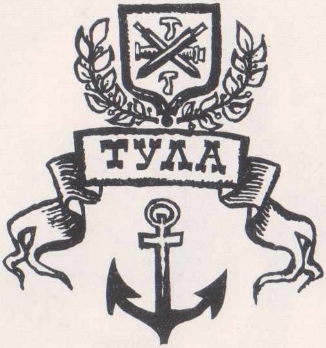
ИВАН ПАНЬКИН

ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ


ДА ПУСТЬ НА ПЛЕЧАХ
ЭТИХ ЛЮДЕЙ ЗДЕСЬ
ВЫРАСТЕТ РУССКИЙ
РУЖЕЙНЫЙ
ЗАВОД


Когда родился Тычка,
про то никто толком
не знает


ТУЛА



ИВАН ПАНЬКИН

ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ

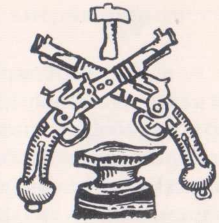
ТУЛА
ПРИОКСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1982

Художник А. МАКАРОВ

$П\frac{70302-03}{М154(03)-82}$ 00.82.4702010200



ЛЕГЕНДЫ О МАСТЕРЕ ТЫЧКЕ







Да простит читатель, если в моей книге найдет рассказы меньше ладошки. Мы, туляки, народ занятой и зря тарабарить нам недосуг. Мы даже не позволяем себе такой роскоши, чтобы в занятое время называть друг друга длинными и величальными именами. По отчеству наши деды назывались только в престольные праздники и в воскресные дни. Туляки всегда любили короткие имена, чтобы они свободно проходили через горло, не застревали в зубах и пролетали через цех, как пуля: «Чиж!», «Левша-а!», «Тычка!» Да и меня на работе зовут именем короче ружейного залпа — Ив, хотя мать по наивности думала: как только я овладею грамотой, меня будут звать не только полным именем — Иваном, но и по батюшке — Федоровым.

Любо или не любо кому, а в нашем городе повелось так: после «аз», «буки», «веди» никого еще не зовут дядей Федей. А кто любит хвалу и чтоб о нем в медные трубы дули, тому нечего делать в Туле. Так говорили наши деды, так говорим и мы. А коли так, не буду дальше терять время, а прямо приступлю к рассказам о необыкновенном мастере Тычке, который без слов, одними руками, мог рассмешить целый город, а ежели ему приходила нужда вымолвить слово, он мог вбить его, как гвоздь, не только в башку человека, а даже в обух топора.

Когда родился Тычка, про то никто толком не знает. Одни говорят — с первым ударом кузнечного молота о наковальню, другие — позже. Но когда бы он ни появился на свет, а приметили его при Петре I. И с тех пор его имя не сходило с уст и пожиточных и скудных людей. После Петра, какие бы цари ни садились на российский престол, каждый из них прежде всего старался Тычку запрятать в Сибирь. По триста Тычек ссылали туда, но только настоящий всегда оставался в Туле.

Но вернемся к тому времени, когда впервые приметили Тычку.

Сказывают, что управители российских городов и губерний не испытывали столько волнений и страхов при других царях, как при Петре I. Вишь ли, Петр-то был человек очень любознательный и беспокойный. Куда бы ни заехал — подай ему что-нибудь новое и удивительное. А если он ничего нового не видал, то на него нападала тоска, и тогда уж от него добра не жди. Не посмотрит, что ты воевода или кто еще в этом роде. Может так разнести, только черепки от тебя полетят.

Поэтому, когда Петру приходилось разъезжать по России, каждый воевода или градоначальник молил бога, чтобы царя пронесло мимо.

Как-то Петр совсем неожиданно нагрянул в Тулу. Приехал он с думкой: испытать самопальных мастеров, на что они способны, и решить, можно ли в Туле основать Российский ружейный завод.

Только слуги успели вытащить из кареты всякую кладь, как Петр сразу к воеводе с вопросом:

— Кто у вас самый лучший ружейный мастер?

Воевода назвал всех пожиточных людей, которые промышляли самопальными делами. А Петр недовольно дернул щекой и опять к воеводе:

— Пожиточные люди не стоят у наковален, я спрашиваю о скудных. Кто из скудных людей считается лучшим мастером?

Воевода тут и стал в тупик. Ружейниками кишит вся кузнечная слобода, а кто из них лучший — этого-то он не ведал.

А Петр снова:

— Через пять минут чтобы привели мне самого лучшего мастера!

Ничего не оставалось воеводе, как только сказать:

— Слушаюсь, государь.

Вызвал воевода к себе какого-то там своего помощника и говорит:

— Найти самого лучшего ружейного мастера и через четыре минуты привести сюда!

Помощник воеводы вызвал своего помощника и приказал привести мастера через три минуты. А тот помощник своему помощнику приказал мастера привести через две минуты. А тот вызвал служилого по сыскным делам и уже дает приказ привести мастера через одну минуту. А до кузнечной слободы только на коляске нужно ехать более четверти часа,— как же он может за такой срок найти мастера, да еще привести в воеводский дом?!

Почесал затылок служилый и заместо кузнечной завернул на базар.

Смотрит, какой-то мужик носится с фузеей — с кремневым ружьем. Схватил служилый мужика за шиворот и приволок к воеводе.

Воевода не успел с ним перемолвиться словом, как из другой комнаты вышел царь.

— Это ли великий тульский мастер? — спрашивает Петр.— Как тебя звать?

— Тычкой,— отвечает мужик,— но только я совсем не великий, а всего-навсего ученик Парфена Зычки, который учился у Никишки Дички, а тот у Прошки Лычки.

Воеводу от слов Тычки прямо в пот бросило. Толкает его в бок, чтобы он замолчал, а Тычка видит, что царь разговаривает с ним по-простому, еще больше разошелся, даже государя стал называть Лексеичем.

Петр ему говорит:

— Сможешь ли починить эту штуку?

И подает ему сломанный пистолет, сделанный каким-то английским мастером.

— А что же не попробовать — можно и попробовать,—

отвечает Тычка.— Сроду мне не приходилось гнуть дуги, а летось попробовал и не хуже, чем у ярославских мужиков вышло.

Вздохнул тяжко Петр, но ничего не сказал Тычке, проводил его до дверей и не взял у него обратно пистолет.

Пока царь разговаривал с Тычкой, все чиновники навытяжку, будто свечи, стояли, а когда Тычка скрылся из виду, сразу зашевелились. Оказывается, никто не спросил, где он живет, а царю об этом нельзя сказать.

Три дня и три ночи искали Тычку, а на четвертый он сам пришел. Пришел и не торопясь из-за пазухи вытащил пистолет и передал царю.

Потрогал Петр пистолет, пощелкал — работает.

— Вот если бы вы все умели не только чинить, но и делать такие чудесные вещи, тогда бы вас и на руках можно носить,— говорит Петр.

— Так чего же их не делать,— отвечает Тычка.— Такие пистолеты у нас подмастерья чуть ли не слюнями клеют.

Петр был горячий человек, не любил хорошую работу хаять, даже если она сделана руками иноземцев.

Поэтому, когда услышал от Тычки такие слова, даже усики у него от злости запрыгали. Потом царь поднял кулак и ударил Тычку.

— За что же, государь? — говорит Тычка.

— За тот пистолет, который ты хаял.

— Если только за тот, так забери его, он мне даром не нужен.

И возвращает он ему тот самый пистолет, который Петр давал для починки.

Оказывается, Тычка за три дня не только починил английский пистолет, но и сделал новый, как две капли воды похожий на английский.

Петр глядит то на один пистолет, то на другой, головой

от восторженности крутит да работой Тычки восхищается. Потом совсем растрогался и говорит:

— Ну, братец мой, ты уж прости, что забидел тебя.

А Тычка был мужик с норовом, сбычил голову и даже не глядит на царя.

А государь опять ему:

— Ну если так не можешь простить, тогда уж и ты ударь меня.

— Да оно, может, так и следовало бы по правилу-то, да вишь, рука у меня мужицкая, как бы греха не натворить. Но если уж очень просишь — так тому и быть!

И так жахнул царя — тот чуть к стенке не прилип.

Когда царь пришел в себя и посмотрел на вельмож, ему неловко стало, что мужик его ударил. А как снова поглядел на Тычку и его могучие плечи, просиял и гордость его охватила за таких людей.

Обнял он тогда самопального мастера и вымолвил:

— Да пусть на плечах этих людей здесь вырастет русский ружейный завод!



И правда, вскоре у кузнечной слободы вырос ружейный завод, который потом и назвали именем Петра.

Может, царь Петр в своих бумагах про этот случай написал совсем по-другому, но мужики сказывают так.

Мужики напрасно не скажут.

И еще говорят, что Петр I тогда приказал наградить Тычку самой высшей


ТУЛА
ДА ПУСТЬ НА ПЛЕЧАХ ЭТИХ
ЛЮДЕЙ ЗДЕСЬ
ВЫРАСТЕТ
РУССКИЙ
РУЖЕЙНЫЙ
ЗАВОД

российской наградой. И зареченские мастера для него выковали золотую медаль с изображением сказочной женщины-богатыря с колчаном на боку. И это недаром. По преданиям мужиков березового края, одна женщина-богатырь с давних пор и по сей день в своем колчане носит вместо стрел целый город с мастеровыми людьми. Женщину зовут Россией, а город — Тулой, где придерживаются такого завета: «Если стрелы о себе говорят в полете, то мастера — только творением рук».

А ежели так, то мне ничего не остается больше делать, как только открыть перед вами наш старый русский колчан и сказать:

— Если хотите о Тычке знать больше, послушайте других мастеров. Я же за свою жизнь сумел выковать только строки этой легенды.

Итак, я открываю колчан.

— Подождите, кто там шумит?

— Какая-то баба скандалит с нашим мастером.

— Чего она хочет?

— Говорит, ее сына брали учить кузнечному делу, а заставляют работать кувалдой.

— А что ей ответил мастер?

— А что он может сказать? Хлеб всегда начинают есть с корки.

Хлеб-то всегда начинают есть с корки, но издавна у нас повелось: когда перед молодым человеком впервые открывают заводские ворота, его не спрашивают, что доброго принес он в своей душе. Его спрашивают, к какой

работе хочет он приложить руки. И случаются потому печальные истории.

Когда-то давно, еще при царствовании Катерины II, на нашем ружейном заводе приключилась вот какая история. В искусный цех, где украшают ружья серебром да золотом, приняли в ученики парня. Ну, приняли так приняли; он должен мотать на ус, что скажет мастер, к которому приставлен. А на работе ведь так водится: люди не только шевелят руками, но и язык не оставляют без дела. Один завернет какое-нибудь острое словцо, а другой прибавит к нему и того похлестче. Без шуток и прибауток самая задушевная работа покажется каторгой. А парень тот, видя, как на работе вольно держатся мастера, тоже за ними, хи да ха. Только вертит во все стороны башкой да ловит, кто скажет что-нибудь смешное. А время-то идет. Не всю жизнь возле мастера тереться. Парень задумался: как ему быть? И начал он языком пробиваться в люди. То на одного мастера что-нибудь наплетет, то на другого. Бывает, кому-нибудь и пятки полижет. Будто чиреем на заводе стал. Так «Чирь» и прозвали. А люди ведь как иной раз глядят на эти болячки?

— Эй, Иван, чирь на твою ногу сел!

— Разве это чирь, когда его в лапоть можно втиснуть?

Пока мастеровые рассуждали так, парень Чирь и в лапоть не стал влезать. Сначала он перед начальством выдвинулся браковщиком — ценителем работ мастеров, а потом — надзирателем. Потом своего учителя начал учить да за бороду подергивать. Когда же сверстники ему показывали какую-нибудь хорошую работу, он даже синел от зависти. А когда Чирь почувствовал, что на него косо стали глядеть, совсем отделился от мастеровых и переехал с заречной стороны, где жил рабочий люд, на Стародворянскую улицу.

После этого произошел такой случай. Один старый мастер приметил в какой-то деревушке остроглазого мальчишку и привез его на завод. Мальчишка был еще не совсем разумного возраста, поэтому работать его не заставляли. И вот он ходит по цеху, то около одного мастера постоит, то около другого. То мастерит себе, пилит и прочее там мальчишеское дело делает. Особенно-то никто за ним не следил. Не шалит — и ладно. Но как-то раз его учитель нечаянно взглянул, над чем возится мальчишка, и ахнул. Этот пострел держал в руках дубовую ветку из железа. Ветка словно настоящая, ее листья были нежны и отдавали такой свежей зеленью, к которой не привык человеческий глаз. Эту ветку мальчишка будто только что сорвал с дерева. Тульских мастеров трудно удивить, ибо каждый из них видел на своем веку много всяких чудесных вещей, но ветка их удивила. Они вынесли ее на улицу и приставили к дереву: сядут ли на ветку птицы?

Птицы сели.

Тогда мастеровые спросили мальчишку, о чем он думал, когда делал ветку. Но что мог им ответить малый? Он сказал:

— Я не знаю.

— Но о чем-то ты наверное уж думал? — настаивали мастеровые.

— Я не думал,— сказал мальчишка,— я только заметил. Я заметил, что, когда начинают зеленеть дубравы, люди становятся добрее.

— А так они злые?

— Да,— сказал мальчишка.

Тогда люди опустили головы и задумались, почему жизнь заставляет их быть злыми. Пока они думали, во дворе появилось заводское начальство, а с ними и надзиратель Чирь. А времена были лихие, неспокойные. По России гулял Пугачев. На ружейном заводе мастеровые

тоже чувствовали себя, как начиненные порохом. Начальство побаивалось, когда рабочие собирались вместе.

— Что за сборище? — закричало начальство.— Разойдись!

Желая показать свое усердие в службе, Чирь сорвал с дерева ветку и начал хлестать мальчишку. А сколько же надо малому? Чирь хватил его несколько раз по голове железным прутом, тот и поник. А надзиратель спокойно, как будто ничего не случилось, выкинул ветку через забор в отвал, куда сбрасывают мусор, и опять встал рядом с начальством. Тут, у кого было и каменное сердце, и тот не мог сдержать гнев. Все с кулаками пошли на Чиря. Чирь видит, что дело плохо, стал отступать. Приперли его к воротам. Увидев над собой молот, он неожиданно превратился в собаку и юркнул через подворотню. Люди распахнули ворота, кинулись за ним, но разве собаку сразу поймаешь!

Начальство, перепугавшись, как бы с ними не произошло такое же, вызвало срочно солдат и приказало как можно скорее похоронить парнишку, чтобы он не тревожил больше сердца. А мастеров потом долго мордовали, многих даже в цепи заковали. Когда у людей начали сходить от батогов рубцы, они опять вспомнили ту ветку. Начали говорить граверам, чтобы они нашли ее, перерисовали для детей и внуков, пока еще не истребила ржа.

Пошли в отвал, увидели — ветка цела, она даже пустила свежие листья.

Добрые вещи даже и среди мусора не погибают!

А собака потом каждый вечер подходила к заводу и выла у ворот, хотела снова стать человеком, но уже не могла.

— Здравствуй, дед! Ты что повадился ходить к нам?

— Очень уж весело стучите молотками. Вот хожу и думаю: не податься ли к вам на учение?

— Где же ты был раньше? Тебя так искали лет сорок тому назад.

А кто запретит завидовать хорошему?

В нашей деревне было два кузнеца-молодца. Одного звали Фомкой, а другого — Еремкой. По-уличному их прозывали «петухами». Еремка действительно походил на кочета. Он был маленький, задиристый и горластый. При споре с людьми даже подпрыгивал, будто хотел переклевать их. Но зато Фомка важно держал себя. Ходил по земле не так как-нибудь, а каждую ногу с достоинством ставил, чтобы видели все — идет человек. При разговоре не каждый раз поворачивал голову в сторону своего собеседника, чтобы тот чувствовал, когда он дельные слова говорит, а когда — пустое мелет. Работали они в разных кузницах и терпеть не могли друг друга. Своими спорами они будоражили всю деревню. Если Фомка шел в сторону кузницы Еремки, из домов выбегали все от мала до велика, чувствуя, что сейчас произойдет такое, о чем будут говорить целый год.

Но спорили «петухи» молча.

Однажды Фомка принес Еремке горсть стекла и на глазах своего соперника сделал бутылку с такими тонкими стенками, что, кажется, стоит дотронуться до них, и лопнет бутылка, как мыльный пузырь. Фомка поставил

бутылку на наковальню, вытер о фартук руки и молча вышел из кузницы.

Еремка со спокойным видом переставил с наковальни бутылку на полку и, как будто ничего не случилось, продолжал работать...

А к вечеру приходит к своему сопернику и подает ему бутылку обратно. Только бутылка уже была окованной железными обручами, да еще внутри нее оказался громадный огурец. Как он его туда втиснул — сам леший не знает.

Тогда Фомка тоже со спокойным лицом отставил бутылку в сторону, подобрал с пола махонький кусочек железа, величиною с ноготок, выковал из него ромашку и приколол к картузу Еремки.

Еремка поклонился в знак благодарности, взял в руки цветок, каждую тычинку отделил одну от другой и возвратил опять Фомке.

Тогда Фомка разозлился, схватил лом, накалил его в горне и, как на веревке, сделал три узла. Еремка оглядел как следует узлы, снова подогрел лом, не торопясь развязал узлы и прямехонький лом вернул хозяину.

А потом «петухи» сели друг против друга, выпили по кружке медовухи и закусили тем огурцом, который был в бутылке, но вытащили его, не разбивая бутылки.

Этот день был самый шумный в нашей деревне, все только и говорили о кузнецах,



а они после этого часа снесли одну кузницу и стали работать вместе.

— Мастер, я давно хотел спросить вас, почему наш начальник все время жалуется на свою работу и всем твердит: «Не дай бог кому носить шапку Мономаха». Правда, она такая тяжелая?

— Очень тяжелая, если под ней пустая голова.

Человек часто не замечает, как он живет, а живет он иногда жизнью совсем другой эпохи. Мой отец говорил: «Стоит человеку на немного позабыть о позывных своего времени, жизнь его отбрасывает на целую эпоху назад, и тогда за ним начинает ходить вторая тень».

Что за тень? А вот послушайте притчу.

Говорят, у нас в кузнечном цехе работал человек по имени Митька-хват. Он был здоровенный мужик. Руки у него как оглобли. Не диво, что такими руками мог гнуть тавровое железо, а диво, что ими мог подкручивать усы комарам. Из-под его молотка выходили сказочные вещи. Туляки за мастерство чуть ли не на руках его носили.

Стоять бы и стоять этому Митьке у наковальни, пока его руки радость приносили людям. Да не тут-то было. Показалось ему звание начальника громче. Бросил молот и сел на начальствующее кресло, думая, что он будет по-барски жить и только руками водить.

Пока за станками и горнами еще стояли ровесники, легко ему было водить руками, все его распоряжения, даже неправильные, выполнялись без лишних слов. Но когда на рабочие места пришли дети сверстников, тут-то Митька

и стал в тупик. Эти без расчетов и проверки не садились за работу. И вышло так, что Митьке осталось командовать только воздухом. Не радовался он больше начальствующему креслу. Пробовал снова удаль свою показать на наковальне, но только рассмешил кузнецов: ослаб и разучился работать. А семья у него большая стала, кормить ее както надо. А как? И решил правдой или неправдой до конца за свое место держаться.

Как-то раз он выходит из кабинета, видит — за ним плетется какая-то чужая тень и вытесняет его собственную.

— Это что за оказия? — испуганно прошептал Митька.

Снова забежал в кабинет и забился в свое кресло. Тогда незнакомая тень отделилась от него, села на стол и сказала:

— Ты только заметил меня, а я давно хожу за тобой. Я твоя новая тень. Страшна? А ты присмотрись к себе, каким ты стал.

— Что ты от меня хочешь?! — закричал Митька.

— Я хотела тебе предложить мундир.

— Какой мундир?

— Железный, в котором бы ты мог спрятать свою душу.

— На кой ляд он мне сдался?

— Как — на кой? — сказала тень.— С открытой душой тебе все равно теперь нельзя работать.

— Убирайся! — со злостью закричал Митька.— И видеть тебя не хочу!

— Ну, гляди,— проговорила тень,— если потребуюсь, позови.

А работать Митьке становилось с каждым днем все труднее и труднее. Иной раз и впрямь хоть прячь свою душу под железный мундир. Как-то в минуты отчаяния Митька подумал: «Может, действительно обратиться к этой проклятой тени?» Только он успел так подумать, а тень тут как тут, уже сидит перед ним на столе.

— А-а, голубчик, все-таки вспомнил меня! Я так и знала, что ты не обойдешься без железного мундира.

— Так где же он? — не глядя на тень, спросил Митька.

— В твоих руках. Такие вещи надо делать только самому. А секрет подскажу.

Как только он выковал мундир и напялил на себя, чужая тень исчезла, но вместе с ней исчезла и его собственная. Чтобы подчиненные этого не заметили, Митька стал ходить теневой стороной заводского двора.

В мундире он почувствовал себя сразу спокойней. И душу не видно, и сам стал погрузней, даже в голосе появилась зычность. Живет опять по-прежнему и «руками водит». Про свое горе начал забывать. Как-то раз оглянулся назад: за ним опять ходит тень. Сначала обрадовался: думал, что своя, но это была та, которая его загнала в железный мундир.

— Чего тебе еще нужно? — спросил Митька.

— Мундир-то на замки захлопнул, а ключи сделать позабыл. Может, иной раз захочется тебе открыть душу перед людьми. Пришла подсказать, как их сделать.

Митька не то что перед людьми, перед женой боялся открыть душу. Да и зачем открывать мундир, если в нем гораздо спокойней. Он отрицательно махнул рукой, тень снова исчезла и больше не появлялась совсем.



Но шли годы. Подошло такое время, когда жизнь стала требовать, чтобы каждый, как говорят у нас, свою душу носил нараспашку. Значит, и Митьке нужно открывать свой мундир. А как? Ключей-то нет. Вот тут-то и заметался он. Что делать? Слезами хотел откупиться у жизни, но жизнь не тетка, слезами не растрогаешь ее, что она требует, нужно выполнять.

Тогда Митька взял зубило, молоток и начал отбивать замки от своей железной одежды. Один кое-как открыл, заглянул внутрь мундира, а там пусто. Митька в испуге снова защелкнул замок. В этом мундире у него истлела и душа и все, что он носил в себе хорошего.

Ходит теперь по земле по виду человек, а что внутри у него — и говорить не стоит.

— Сосед, а сосед, ты спишь за верстаком или работаешь?

— Думаю.

— О чем?

— Да о том, сколько я сделал пустячных и ненужных вещей за свою жизнь ради того, чтобы в какие-то дни лучше прожить, чем другие, а теперь я думаю: «Если бы вернуть то время, которое я потратил напрасно, сколько бы я мог сделать людям добра».

— Это бы хорошо, но только вода, вылитая в помойку, никогда не возвращается в тот же колодец.

Это еще хорошо, что спохватился вовремя, а то могло бы случиться такое, как с моим соседом по верстаку — Егоркой.

Он был искусным мастером по пейзажным зарисовкам. Мог на мушке ружья создать целые картины из охотничьей жизни. На вороненой стали его картины гляделись таинственно, будто из туманов или лунных ночей. А поэтому всякому, кто брал в руки его работы, хотелось разглядеть каждый кустик, за которым притаились звери, каждую ветку, на которой сидели птицы. И, разглядывая их, они даже забывали сказать хвалебное слово. А Егорка очень любил похвалу. Ему хотелось, чтобы о каждой его работе



говорил весь завод. Но мастера — сдержанные люди. Когда Егорка вынуждал их говорить о своих картинах, они отвечали ему:

— Ничего, показать людям можно.

Но Егорке этого было мало. И однажды ему в голову пришла вот какая мысль: «В толпе никогда не будешь заметным. А чтобы стать заметным, надо от нее отойти в сторонку».

Он взял и ушел из завода. Хотел еще увести своего ученика, но другие мастера отговорили того.

Построил Егорка дощатую мастерскую вроде ларька и начал делать брошки, сережки и прочие такие вещи. А пластинки с наметками картин, над которыми он работал на заводе, пока запрятал в угол. «Ничего,— думал он,— это я временно, пока не поднимусь на ноги, потом за настоящее дело возьмусь и покажу, что я за мастер на тульской земле». Но у него так ходко пошло дело, что и забыл он о настоящей работе.

Сначала резцом делал кое-какие рисунки, а когда увидел, что брошки и так раскупаются хорошо, бросил и это делать. Покрасит их в яркий цвет и уже выставляет на продажу.

Вскоре, как говорят, он начал сало с салом есть и брагой запивать. Иной раз вспомнит о настоящем деле, вытащит пластинки из угла, посмотрит, посмотрит на них и скажет:

— Вот еще справлю для своей хозяйки шубу и для дочери новое платье, тогда уж начну рисовать.

Но только он успевал для дочери купить платье, как для хозяйских нужд опять требовалось что-нибудь приобрести. Снова Егорке приходилось садиться за брошки и сережки. А время шло. Егорка не заметил, как у него поседели усы. А пластинки с наметками картин все еще оставались лежать в углу.

Как-то, прогуливаясь по главной улице города, он зашел на выставку работ лучших граверов России. И на центральном стенде, рядом с работами знаменитых мастеров, он увидел на вороненой стали такие же картинки, которые когда-то он, Егорка, рисовал на заводе. Только эти были выполнены куда лучше.

«Кто же еще, кроме меня, может рисовать так?» — заинтересовался он.

Прочитав фамилию мастера, Егорка ахнул. Оказывается, перед ним лежали работы его ученика.

Егорка тут же побежал домой, вытащил свои пластинки и засел за работу. Но когда он приступил к гравировке картин, то почувствовал, что резец, которым он некогда выполнял тончайшие работы, перестал слушаться его. У мастера остыли руки. Остывшими руками и свечу не зажжешь.

А ведь скольким еще невдомек, что мы руками греем целый мир.

Если задуматься: каждый человек живет для того, чтобы создать песни своих рук, но жаль, что иногда эти песни мы боимся передать даже своим сыновьям.

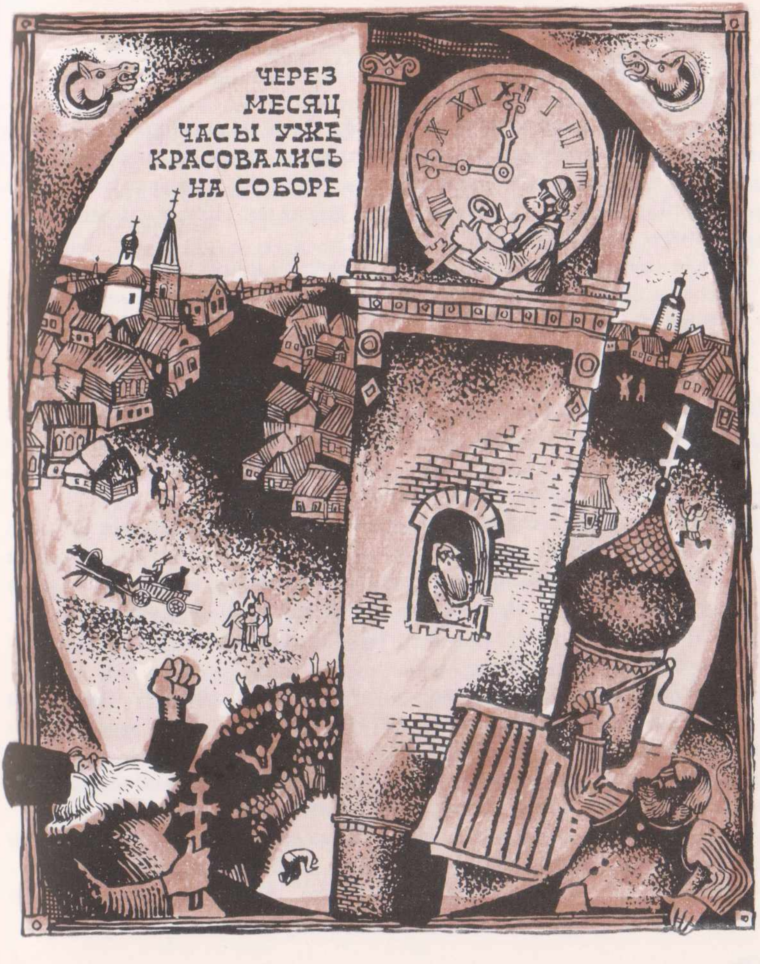
Однажды мастеру прислали ученика. Не успел ученик подойти к его верстаку, как тот замахал рукой:

— Не подходи, не подходи близко, у меня насморк.— А другой рукой начал быстро прятать свои работы в шкаф. Когда же захлопнул дверки, спросил: — Что ты хотел спросить у меня?

Ученик посмотрел на своего будущего учителя и сказал:

— Я хотел спросить, не разрешите ли мне перейти на учение к другому мастеру?

— Почему?


ЧЕРЕЗ
МЕСЯЦ
ЧАСЫ УЖЕ
КРАСОВАЛИСЬ
НА СОБОРЕ

— Потому что вам жалко мне передать даже свой насморк.

А вот мой мастер Тычка всегда свои руки держал на виду. К нему на учение тянулось столько мальцов, что если бы он взялся всех выучить, то ему не хватило бы трех жизней. А руки у него были веселые. Он ими мог рассмешить целый город.

Однажды его пригласили в небольшой купеческий городок сделать башенные часы. А мастер и меня взял в подручные.

По карте этот городок носил какое-то громкое божественное название, а простолюдины именовали Жеребцовкой. Что сделаешь с непросвещенным народом, сколько им ни толкуй — они свое: «А как мы будем называть, если там торгуют жеребцами». Там действительно испокон веков занимались торговлей лошадьми.

Во время первой мировой войны у жеребцовских купцов так ходко пошли дела, что они на радостях решили на колокольне собора поставить часы, которые два раза в сутки должны исполнять молитву «За здравие царя».

Мой мастер был исполнительным человеком. Сказал — сделал.

Через месяц часы уже красовались на соборе. Но перед тем, как их поднять туда, жеребцовские купцы прослушивали эти часы раз двадцать, пока не сказали: «Бой не хуже хрустального звона, а молитва аж вышибает слезы. Пусть теперь часы служат честному народу».

В один из воскресных дней было решено на соборной площади собрать народ и после торжественной речи пустить часы. А уж потом купцы хотели расплатиться за работу.

Мне тогда было семнадцать лет. Девки уже поглядывали на меня, поэтому давно я мечтал купить себе кумачовую рубашку и шелковый пояс.

В назначенный день на площади собралось много народу.

Я стоял рядом с мастером возле часов на колокольне и думал: «Как получим деньги, обязательно исполню свое желание». Но только оратор успел крикнуть: «Да пусть же вечно звучит над нашими головами божественная музыка!» — мастер повернул в часах какой-то рычажок, и они вместо музыки заржали, как лошади. Где уж тут было думать о деньгах, я не знал, как унести ноги.

Вот таков был Тычка.

Не проходило такого дня, чтобы Тычка чего-нибудь да не вытворил. Поэтому его больше месяца не держали ни на одном заводе.

В наших краях жил фабрикант. Такой он был самодур, каких трудно найти на свете. Бывало, хлебнет немного хмельного и начнет кричать на рабочих: «Я ваш царь, что хочу, то и сделаю с вами! Могу заставить вас даже сидеть в собачьих конурах!»

Фабрику он охранял собаками.

И вот однажды на его фабрике вспыхнул бунт. Три дня рабочие искали своего «царя», чтобы расправиться с ним, но найти не могли.

Оказывается, все эти дни он сам сидел в собачьей конуре. А заглянуть туда никому из рабочих не пришло в голову.

Немногие знали про этот случай; если кто знал, то язык старался держать за зубами. С фабрикантом шутки плохи.

Как-то раз этот фабрикант в честь именин решил жене

сделать необыкновенный подарок. А кто, кроме оружейников, мог изготовить такой подарок?

Он и обратился к ним. Но те наотрез отказались принять заказ.

А мой мастер, к удивлению всех, согласился и через некоторое время принес фабриканту маленький медальон, величиной с ноготок, но такой необыкновенной красоты, какой не видывал еще никто. Посреди медальона отгравировал самого фабриканта, сидящего в позе царя. Вокруг портрета нарисовал сказочные цветы и украсил их алмазными зернами.

Фабрикант остался так доволен работой моего мастера, что даже созвал на именины всех знатных людей города, чтобы похвастаться перед ними.

И правда, когда он стал гостям показывать медальон, все начали восторгаться и завидовать хозяину, что он приобрел такую невиданную вещь.

Но одна дама заметила:

— Как ни славятся тульские мастера, у них все-таки грубые руки. Они обязательно где-нибудь да сделают изъян. Всем хорош портрет, а на кончике носа мастер все же сделал царапины. Хотя они еле заметные, но разве нельзя было отшлифовать? Заграничные мастера ни за что бы не допустили этого.

А какой-то гость, разглядывая медальон через очки, воскликнул:

— Господа, да тут не просто царапины, а просматривается какой-то рисунок!

Когда принесли лупу, то оказалось, что мой мастер на кончике носа отгравировал второй портрет фабриканта, на этот раз он его изобразил не сидящим в позе царя, а выглядывающим из собачьей конуры.

Не сделает и меч того, на что способен острый язык и смелый резец художника. А мастер Тычка был очень смелым. И немудрено: кто стоит прямо, тому нечего бояться, что у него тень будет кривая.

Как-то один из начальников ружейного завода назидательным тоном сказал Тычке:

— Когда я был простым рабочим, я всегда честно относился к своему делу.

— С каких же пор тогда ты потерял честность? — спросил его Тычка.

На ружейном заводе работал надзиратель, от которого жизни не было мастеровым. Он через стену слышал, о чем говорили мастеровые, и все, конечно, доносил до начальства. Когда стал слаб ушами, с этой должности его сместили. Обиженный надзиратель пришел в тот цех, где некогда работал обыкновенным мастеровым, и прежде чем пожаловаться на несправедливость начальников, спросил у рабочих:

— Как вы думаете, почему я снова вернулся к вам?

— А что нам думать,— за всех ответил Тычка,— змея всегда умирать выползает на дорогу.

Один заводчик, прохаживаясь по цехам, любил говаривать своим рабочим:

— Не отвлекайтесь, дорогие, не отвлекайтесь, что задумали, надо доделывать до конца.

Ему казалось, что все волынят на работе и он напрасно

им платит деньги. Однажды прослышав, что после свержения царя у него могут отнять завод, он вдруг решил умереть.

У его постели собралось много народу.

Лежит заводчик с закрытыми глазами и ждет; может, кто скажет сочувственные слова. Но все молчат. Вдруг на кончик его носа села большая муха и стала чистить свои крылья. Заводчик поморщился и приоткрыл один глаз, чтобы заодно посмотреть, что за народ собрался возле него.

И в это время из толпы послышался спокойный голос Тычки:

— Не отвлекайся, дорогой, не отвлекайся. Что задумал, надо доделать до конца.

Чтобы Тычка лишнее не говорил о начальстве, его решили прикрепить к самому строгому мастеру.

Новый мастер сказал:

— Я много говорить не люблю. Если мотну головой вниз, значит — иди сюда.

— Оказывается, у нас одинаковые характеры,— ответил Тычка.— Если я в стороны замотаю головой — значит, не пойду.



Был Тычка не только гравером, но и кузнецом, и скульптором, и резчиком по дереву.

Повадился к нему ходить по вечерам сосед. Придет с шахматами, расставит фигуры и ждет, когда подойдет Тычка. Сосед прямо-таки не давал ему дома работать и при этом всегда обыгрывал партнера, а после этого его по-всякому хулил. Как же отвадить надоедливого шахматиста? А Тычка знал, что, если сосед кому-нибудь проигрывал, то больше не приходил.

И вот Тычка дождался соседа и сказал ему:

— Сегодня будем играть моими шахматами, и начну игру белыми фигурами я.

— Пожалуйста,— ответил сосед.— Все равно проиграешь.

Когда Тычка расставил шахматы, сосед изумился: мастер из белого дерева вырезал воинов Александра Невского, а из черного — псов-рыцарей. А кому приятно такими фигурами играть? Сосед проиграл, конечно, и больше носа не показывал к Тычке.

И теперь, когда его спрашивали, почему он больше не хулит мастера Тычку, тот отвечал:

— Я стал придерживаться такой пословицы, в которой говорится: «За молчание подарки дают».

Пусть и говорят, что за молчание подарки дают, но без языка и колокол становится немым. Для чего же он тогда нужен миру? Однако излишнее вяканье доводит и до бяканья. А мы, кузнецкослободские, народ экономный, каждое пасённое слово стараемся держать за щекою. Так что простите уж, если моя притча будет короче носа птичья и сложится не так хорошо и бойко, как у рогожинских слобожан, которые науку познают каждый день на базаре и едят печатные пряники. Мы люди неграмотные, от дедовских времен довольствуемся пряниками

неписаными, на базар ходим только по праздникам. И живем просто: сами ездим на кобылах, жены на коровах, дети на телятах, слуги на собаках, кошки на лукошках. Но стараемся думать так, как плотник с топором и писака с пером. Каждое утро просыпаемся с думою-мечтою, как бы на лету комара подковать и мастерством выше Тычки стать. А он оказался такой хват, чего ни сотворит, будто на булате напишет, и его имя не сотрешь. Не говоря уж о том, что он умел на обухе топора рожь молотить и ни одного зерна не уронить.

Как-то раз он принес к нам в цех небольшой кубик, сделанный из самой прочной стали. Кубик был как кубик, ну, величиной, примерно, в один кубический сантиметр. Но все его стороны были настолько отшлифованы, в них глядеться можно. Проведи по его площадям линейкой прямотою солнечного луча и зазора не увидишь. Дал он этот кубик нам. Мы повертели, повертели его в руках, что могли сказать? Сделан он был так, как мог сделать сам тульский бог, по солнечной линейке.

— Вы ничего не заметили в этом кубике? — спросил нас Тычка.

Мы только пожали плечами. А он нажал на один из его уголков, и этот кубик распался еще на сто кубиков. Всю эту крупу он опять передал нам, мы как ни старались их снова собрать в один, но так и не могли. А Тычка потряс кубики-малютки между ладонями, и они опять слиплись вместе. Мы все глядели на этот кубик, как гуси на зарево, и от удивления гагакнуть боялись. Вроде бы не велика штучка, да мотовата. А нам всегда кажется, что если нужно сделать что-то большое, нужна и большая площадь. Ан нет, оказывается, и на самой малой площади можно сделать больше большого. И еще мы забываем о том, что, кроме задумки, каждому творящему человеку нужна та смелость, которой, кажется, ни у кого из нас

до сих пор не было. В этом, наверно, и есть секрет мастерства и, наверное, поэтому нам не удается до сих пор подковать комара на лету.

Если уж забрякали дугами, видно, не улежать и хомутам.

Могуч тот, кто душой чувствует свое ремесло и владеет многими знаниями. По-моему, таким могучим является мастер Тычка.

С вашего позволения расскажу я о нем один случай.

Однажды, теперь уж не помню когда, к нам на завод привезли станок. С первого взгляда, в нем будто бы не было ничего особенного. Одна святая простота. Но эта проклятая машина оказалась капризной, как избалованная невеста из богатой семьи. С одного конца хитро, с другого мудреней, а в середке ум за разум заходит. Кому ни поручали собрать станок и пустить его в ход, ни у кого это не получалось. Хотя охотников было очень много. Когда мастеровые приступали к делу, у каждого появлялось чувство беспомощности, как у цыпленка, упавшего в яму: кричать — голос слаб, взлететь — крылья малы. Потопчутся, потопчутся возле станка, как тетерева на току, покружатся, покружатся вокруг него, как вокруг кольца, и, не найдя ни начала, ни конца, отходят прочь. И наконец, тот бедный станок настолько замучили, что если бы он был бычком, то перебодал бы всех от злости. Когда позвали мастера Тычку, люди сбежались к тому станку чуть ли не со всего завода посмотреть, что же получится у носящего имя лучшего мастера столицы мастеров. Тычка сначала погладил станок, как заморенную лошадь в дороге, потом втиснул в его нутро несколько деталей, позвенел ими, привернул их гайками, и все услышали, как станок

задышал, и почувствовали, что ежели Тычка сейчас втиснет в него еще несколько деталей — станок заговорит. А у нас на заводе было два человека — Василь Васильев и Василь Петров, которые получали деньги за то, что они числились на должностях хитрецов-мыслителей. Хотя я и не должен сказывать, чем они занимались, да и завод держал это в строгом секрете, но весь город знал, что они половину жизни отдали на раздумье, как бы корову разрубить надвое, чтобы зад доить, а передок во щах варить. У Василь Васильева и Василь Петрова слава была так велика, что без них ни одно собрание и ни одно техническое совещание не обходилось. Для этих хитрецов-мыслителей в президиуме любого собрания специально ставили два стула, нужны они были здесь или не нужны. Без их речей и наставлений ни одна кошка не котилась в Туле. Они могли все: и хромого научить ковылять. Их побаивались даже маститые конструкторы. Если кому-нибудь давали проектировать самую обыкновенную деревенскую телегу, то при обсуждении проекта он робел, как бы Василь Васильев и Василь Петров не вставили палки в колеса его телеги или же не предложили колеса рубить пополам, чтобы они лучше катились.

Ну, конечно, и на этот раз дело не обошлось без Василь Васильева и Василь Петрова. Но только, к их огорчению, Тычка не стал слушать советов.

А беспомощные всегда боятся уверенных людей и стараются чем-нибудь да опорочить их. В то время, когда мастер Тычка собирался задействовать к станку последние детали, хитрецы-мыслители взяли, да и подменили их. Подкинули Тычке детали совсем от другого станка. Но Тычка был такой мастер, что у него даже с другими деталями заработал станок.

Иные мастера бывают не лучше той тетки Матрены, которая говаривала своему мужу:

— Хоть бы ты украл где пшеничной мучицы на колобы!

А муж отвечал:

— Дура, ведь все знают, что у нас пшеничной-то нет.

— Ничего,— успокаивала его тетка Матрена,— я так испеку, что ото ржаной не отличат.

А хуже того бывает, когда мастер сажает в печь хлебы, как пышки, а оттуда вынимает их, как для горшков крышки, да еще начинает доказывать, что он с самого изначала так измышлял свое творение сделать.

Мастер Тычка никогда не защищал своих творений. Каждое его творение защищало само себя. И этим он всегда удивлял людей, как удивляют те крестьяне, которые даже в недородные годы со своих полей снимают хорошие хлеба. Недаром его царь Петр полюбил с первой встречи и до самой смерти не забывал великого тульского мастера. Много раз Тычку вызывал в Питер по разным работным делам. Петр с большой отрадой относился к людям дальнего и хитрого ума и очень недолюбливал тех, кто горазд был много спать, на работе сапоги ломать и свои



чулки грязью марать. Да Петр и сам, как все работные простолюдины на Руси, вставал рано. В четыре часа уже был на ногах, а в шесть — начинал прием нужных ему чиновников. Ежели кому предстояло идти к царю на прием, то он не спал всю ночь. А далее, как сказывают люди, слуга складывал для царя в сумку пищу: хлеб, кусок холодной говядины — и вместе с ним шел осматривать новостройки. Петр всю свою жизнь занимался стройками, даже самые незаметные ручейки хотел заставить работать на заводы — на пользу людей. И так он широко развил свои помыслы, что до конца жизни ему так и не удалось посмотреть на все свои стройки. А в то время, когда еще Петр владел бодростью и в нем кипела сила, где бы его ни заставал обеденный час — там и обедал. Таков был Петр. По слухам, дошедшим до нас, в личной жизни он был тоже скромным. И не только скромным, а даже жадноватым. Говорят, что его жена Екатерина не всегда решалась обращаться к нему с устной просьбой, когда ей, как царице, на свои нужды требовались какие-то средства. Однажды она в письменной форме обратилась к Петру, прося его о том, чтобы ее любимой фрейлине бесплатно выдавали из дворцовых припасов чай и сахар. Царь Петр, разбрызгав чернила, наложил резолюцию: «Она чая не знает, сахара не ведает и приучать не надобно». Но если речь заходила о престиже России, он не жалел ни себя, ни других, ни денег.

Как известно, Петру хотелось новую столицу России построить так хорошо и красиво, чтобы она была самой лучшей столицей на земле. Для ее строительства он согнал чуть ли не всех знаменитых мастеров со всего русского государства. Но этого ему показалось мало. По его указу было привезено морем из Италии, Англии, Голландии и, наверное, из других государств много статуй, готовых колонн, из Венеции доставили даже целую беседку из

алебастра и мрамора. Петру хотелось со сказочной быстротой воздвигнуть город на краю русской земли, глядевший на запад. И вот, когда на стыке полноводной реки Невы и безымянного ерика, названного потом рекою Фонтанкой, к небу поднялись высокие дома, в украшении и отделке которых принимал участие и мастер Тычка, вдруг Петр получил от своего посланника в Риме письмо примерно такого толка: «Милостивый государь! Прошу принять мое письмо с горячей душой, но не спокойной. Я не хочу указывать тебе, но знай, что покой пьет только воду, а беспокойство мед. Я не всегда был счастлив, но вдруг мне привалило такое счастье и высказать все сразу не сумею. По редкой случайности мне удалось приобрести несравненной красоты статую мраморовую Венуса — богини любви Венеры, очень старинной работы, для украшения нашей столицы. Как мог хоронился от известного охотника, но он у меня отнял.

Теперь я как разбитый лежу в постели...»

А этим охотником был не кто иной, как папа римский — Климент XI. И далее, в последних строках, посланник грозился, что если Петр ему не поможет вернуть богиню любви, то он умрет от горя.

Насколько достоверно дошли до меня слова этого посланника, сказать не могу. Может быть, этот доподлинный случай жизни того времени уже превратился в сказ, а может быть, кто-то сделал ошибку или прибавил чего, но в сказах ошибки в фальшь не ставятся. А потому, позволите мне свое повествование со спокойной душой продолжать дальше.

Вслед за этим письмом, как ни странно покажется вам, хочу поведать историю одной святой дамы, которая потом при соперничестве за овладение мраморовой Венерой нежданно для Петра I стала козырной картой, а для папы римского печальным уроком.

Итак, когда-то в Швеции жила женщина по имени Бригитта. Родила она восьмерых детей. Славиться бы ей да славиться своими сыновьями и вновь среди них расцвести по-иному. Но этот жизненный мир ей показался слишком обыкновенным, и выбрала она иной. Вступила во францисканский монашеский орден, перебралась в Рим, где прославилась своей аскетической жизнью и духовными мистическими сочинениями, которые она писала до самой кончины. После смерти Ватикан эту женщину причислил к лику святых. В ее честь у города Ревеля построили монастырь, и из Рима останки Бригитты перевезли туда. Когда Петр I у шведов отбил Ревель, то мощи этой канонизированной дамы оказались на завоеванной русскими солдатами стороне. Тогда по многим городам Руси среди православных ходила молва, что наши солдаты взяли у шведов не только сам город Ревель, а даже мощи ихней пресвятой девы. Солдаты вскоре позабыли об этих мощах, царь Петр с самого начала и думу думать о них не хотел. Да, может быть, и все позабыли об этом. Но лет через семь после того в окрестностях Рима рабочие, роя котлован для фундамента жилого дома, вдруг наткнулись на мраморную статую изумительной красоты. Ею оказалась языческая богиня любви Венера. Посланник Петра I, понимающий толк в произведениях искусства, не раздумывая, тут же купил эту статую и увез в свой посольский дом, чтобы немедля ее отправить в Петербург. Когда папа римский узнал об этом, то так разгневался, что в тот момент, если он мог, то, наверное бы, от злости разорвал небо на клочки. Папа тут же вызвал губернатора города и приказал немедля изъять статую у русского посланника и поставить ее в открытом месте Капитолинского сада — папского музея древней скульптуры. Тогда-то посланник и написал то самое горькое письмо Петру I. Петр, зная хорошо посланника и то, что он пустяшных писем не будет писать,

не хуже папы римского разволновался, немедля созвал совет в одном из залов новопостроенного казенного дома, в коем отделочники еще доделывали свои самые тончайшие работы, которых, войдя в этот зал, сразу можно и не узреть.

Посреди зала стоял единственный стол со множеством стульев да возле одной из торцовых стен — музыкальный ящик, высотою почти в два человеческих роста, на котором возвышался громаднейший белый ангел, сделанный из обыкновенного дерева, но покрытый очень хорошей краской. Кто-то из наших мастеров из любопытства уже успел от пальца его ноги и задних булок отколупнуть краску, полагая, что это останется незамеченным. Русские люди везде, до самой своей кончины остаются детьми. Покуда они на зуб не попробуют твердость железа или то, что от них закрыто, не откроют, до тех пор не успокоятся. Ангел пока стоял в бездействии. А по замыслу он должен под музыкальный звон трепетать перьями, воткнутыми в деревянные крылья. Это и создавало бы такое впечатление, будто звучание музыки исходило не из ящика, а от перьев. Но, видимо, механическую душу ангела сотрясли во время перевозки на корабле или тут, на берегу, и теперь никто не знал, что нужно было с ангелом делать. Немец, привезший его, вместо инструкций оставил в Петербурге только несколько слов: «Он внизу зад должен играйт и вверху зад должен играйт». С тем и уехал.

Петр не любил безделушек. Несколько раз он пытался вынести ангела из этого дома, который должен стать его приемной, но его отговаривали, доказывая, что, во-первых, ангел был подарен от души, а во-вторых, надо послушать, под какую музыку он будет махать крыльями.

Пришедшие на совет сначала щупали стены — высохли ли? — а затем, оставляя следы на паркете, подходили к ангелу и восклицали:

— Ба! Как живой, только что не говорит.

Петр, косо поглядывая то на ангела, то на своих приближенных, наконец, со злостью сказал:

— Как же он может заговорить, ежели у него во рту даже разреза нет.

— Ну, мало ли чего на свете не бывает, а может быть, он и заговорит,— кто-то ответил ему.

Петр посоветовал лучше внимательно смотреть на того, кто будет говорить о насущных делах, а не на безмолвного ангела. Посадил всех за стол и начал читать письмо русского посланника в Риме. И когда прочитал, задал всем вопрос:

— Так что будем делать?

Все молчали.

Действительно, что было делать?

Что можно было отдать папе римскому взамен статуи? Деньги? Ему они не нужны. Он их собирает почти со всего света. Медь? Россия сама вынуждена колокола переливать на пушки. Пеньку? Дерево? Воск? Папа римский не будет мараться торговыми делами.

— Так что же мы можем дать взамен мраморовой богини? — снова спросил Петр.

— Не знаем,— был дан ему ответ.

— А кто же знает?

— Бог знает.

— А может быть, еще кого-нибудь позовем на совет? — оглядывая всех, с укором сказал Петр.

Все молчали.

Окружение Петра было очень пестрое: иностранцы разных мастей; худородные россияне, выбившись из курных изб в знатные благодаря своим талантам после указа Петра, в котором говорилось: «Отныне знатность по годности считать»; и люди из богатых родовитых семей, у которых сходились замыслы с далекими замыслами Пет-

ра. Некоторые из них служили Петру по нужде, как они сами говорили: «Пока деваться некуда». Держались высокомерно и в присутствии худородных старались показать себя на равных с царем. И вот один из таких на упрек царя ответил:

— Но не звать же на совет, допустим, вот этих мужиков в самотканых портках? — и указал на окно, за которым с лопатами и кирками сновали работные люди.

— А почему бы и нет,— ответил ему Петр.

У Петра был такой характер: при деловых разговорах он не мог терпеть не только громкого смеха, а даже и улыбок, считал, что для этого есть другое время. Но все же некоторые улыбнулись. И тут... Действительно, каких только на свете чудес не бывает... К изумлению присутствующих, вдруг из-под ног белого ангела, с шипением часовых шестеренок, зазвучала церковная музыка. На деревянных крыльях ангела затрепетали приставные перья. От неожиданности все встали и, пока не смолкла музыка, стояли, как на иголках. А когда она смолкла, показалось советникам, что ангел глубоко вздохнул и тихо прошептал: «Ах, матушка-рожь, за что кормишь дураков». Тут у советников ножки, как лучинки, хрустнули, и все они как один от страха шлепнулись на стулья, даже не почувствовали, на какую часть тела упали. Некоторым не помогла устоять и бутылочная храбрость. Говорят, среди советников имел честь присутствовать адмирал, бывший морской бродяга, повидавший на своем веку таких ужасов, каких не сравнить и с котлами с горящей смолой в преисподней, и тот изрядно струхнул. А потом ангел, не имеющий во рту даже разреза, кашлянул, словно в кулак, и громко вымолвил:

— Знатные люди Руси и ее новой столицы! Стоит ли вам так долго ломать головы? Премудрость одна, а мудростей много и каждая имеет свою ловкость. Я не пророк

Наум, но вас наставлю на ум. Отдайте за мраморного Венуса римскому папе то, из чего нельзя сделать ни шила и ни мыла. И вы будете довольны, и от вашего подношения папа не откажется.

В зале стояла такая тишина, что было слышно, как на другом берегу Невы мухи летали. Один из советников, наконец, набрался смелости и спросил:

— А что именно отдать-то?

Тут на две стороны распахнулись дверцы музыкального ящика, оттуда вышел мужик в самотканых портках и сказал:

— То, что не надо для России.

Это был мастер Тычка.

Но его никто из советников не понял. А Петр понял. Он, как и в первый раз в Туле, подошел к самопальному мастеру, обнял его и воскликнул:

— Чадо моего отечества, спасибо тебе за совет. И смешно и мудро. Если захочешь еще что-то сказать, говори всегда мне прямо. Ты более чем достоин быть ангелом. Если бы у меня была такая сила, чтобы вознести тебя ввысь, я бы не сделал этого. Ты мне нужен на земле. И не только мне, но и всей Руси. Она на таких людях вечно должна держаться.

В этот же день Петр дал указание своим доверенным лицам направиться в Рим.

Весть о желании русских посланников посетить Ватикан папа Климент XI воспринял с большим любопытством и назначил им свидание между двумя воскресными днями в середу. Принял их осторожно, с тихой ласковостью. Ну, конечно, для начала пошел такой разговор, что осемнадцать это есть не что иное как без двух двадцать, а по латыни два алтына все равно, что по-русски шесть копеек. Чужой человек, как соборный колокол, всегда незнамые вести приносит, его готовы послушать даже те, которые давно лежат на погосте. А папе римскому уж тем


ЦАРЬ ПЕТР I
ПАПА КЛИ-МЕНТ XI
НИЧЕГО ЕМУ НЕ ОСТАВАЛОСЬ ДЕЛАТЬ, КАК ОТДАТЬ ВЕНЕРУ РУССКИМ
В РИМ ДОСТАВИЛИ
ОСТАНКИ БРИГИТТЫ

более, да еще русских людей. Нет-нет кому-нибудь из речующих, как девка, тишком на ногу ступает, ума-разума пытает, чтобы потом на коленки поставить, а сам все ведет разговор, что и горою в лес, и под горою в лес, и лесом в лес, да все тот же блин подносит, только на другом блюде. А наши, как известно, все Ивановичи Ивановы дети, терпеливы только до задора. А как придет задор, они ахнут шапкой оземь и скажут: «Ах, была не была! Либо добыть, либо назад не быть. Где одна вода лед проложит, там другая снесет. Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не видать». Так наши русские посланники и поступили. Сначала они мяли, мяли свою мятку, а потом ее комом и бросили: мол, так и так, премилейший папа римский, ты там как хочешь живи, а нам богиню любви отдай. Она нам очень нужна.

Когда папа римский услышал это, он даже от смеха закачался в своем кресле. Папа смеялся молча, по-кошачьи, видя под своею лапою мышонка, который еще на что-то надеется. Но наши посланники тоже видели мир не только из своего окошка. Слышали, как где дубравы шумят, и по лисьим следам не раз хаживали.

— Больше ничего не говорил ваш государь? — спросил папа, продолжая еще смеяться нутром.

— Говорил,— отвечали ему.

— И что же?

— Кому весело в среду, тому может быть грустно в четверг.

— Тогда приходите в четверг.

А в четверг, уже не скрывая своей улыбки, папа римский снова спросил у русских посланников:

— Не просил ли ваш государь еще чего-нибудь, кроме Венеры?

— Нет,— ответствовали ему,— он только просил, чтобы вы поменяли Венеру на мощи святой Бригитты.

У папы римского от этих слов сразу лицо вытянулось почти по шестую пуговицу. Глядит на русских посланников, будто глотком подавился. И так побелел, что стал похожим на мраморную статую.

Кто-то из русских посланников тихо сказал:

— Вот и все дела.

Папа Климент XI был обезоружен. Не отдать статую — это значило бы публично предпочесть языческую богиню любви мощам святой Бригитты, столь чтимой в кругах набожных католиков.

В Рим доставили останки Бригитты, а в Питер увезли Венеру. И поныне она находится там.

Вот и сказка вся. Больше сказывать нельзя. Добрый конец — всему делу венец.

Хотя сказка со сказом сродни, однако сказ любит к были вязаться, а сказка от него — подальше держаться.

Много разных историй я слышал от наших заводских дедов о мастере Тычке и Петре I. Сначала, когда еще под носом было сыро, принимал их за сказки, потом — за красные были, а когда у меня не только голова, но и руки приучились думать, я понял, что деды мне сказывали сказы, чтобы я ближе к жизни держался и не позволил попам и всяким государевым подпевалам свою голову бурьяном засеять.



Один из этих сказов я расскажу вам.

Когда в Питере бабы через улицы из окна в окно ухватами горшки еще передавали, а для великих дворцов только стопы ставили, по младу городу разнеслась молва, что в одной из церквей, стоящей в недальной веси, сотворилось чудо. Нежданно залилась слезами икона святой богородицы, и плачется она за людей, творящих грех, осмелившихся вместе с царем Петровым построить новую столицу на том месте, которое бог облюбовал для кустари и хляби. Что создано богом, то не должно тревожиться человеческими руками. А город, рожденный не по воле всевышнего, будет сожжен небесным огнем, его пепелища разметаны конскими хвостами, люди будут выведены, как лиха трава с чистого поля.

А знамо, что молва не по лесу ходит, а по людям, если уж она пошла, то ее ни конному, ни пешему не нагнать, ни царским указом не заворотить.

Заволновался народ и грянул ту церковь искать; может, еще богородица прощение даст.

Услышал и Петр этот некрасный звон. Сел он на стул, сколоченный своими руками, и такую беспомощь почувствовал, хоть кидайся в омут. Как собрать снова разбредший народ? С помощью войска? Люди не рыба — войско не сеть. Что делать? И захотелось ему найти ту церковь и поглядеть самому на чудо-икону. Кого с собой взять? Не генерала же, делающего все дела, как при атаке, в лоб. Вдруг ему пришла мысль: не уехал ли еще в Тулу мастер Тычка — веселый мудрец? И тот на его счастье оказался в Петербурге. Накинул Петр поверх своего царского мундира армячок, надел на голову шапку-пирожок — волосяной сторожок и направился с Тычкой шажком, с посошком искать церковь, где богородица слезы льет. Ее оказалось нетрудно найти, только надо было за людьми идти, цепочкой тянувшимися по полям и лесам. Она стояла

на пригорке между трех деревень. Серая, неприглядная, срубленная невесть в какие времена. Но церковушка еще жила и походила на хитрую побирушку-богомолку, в сирой одежде, привыкшей показывать, как она во имя людей несет свой нелегкий крест и все время думающей, в какой бы деревушке можно послаще поесть.

Внутри церковка была разделена белым шнурком на две части. По одну сторону шнурка находилась икона святой богоматери, а по другую — стояли миряне и глазели на ее плачущее лицо. Ежели кто-то из мирян забывался и, сам того не замечая, перешагивал через шнур, чтобы поближе посмотреть на чудо, то ему низенький и тощий попик скорбным голосом говорил:

— Нельзя. Богом не позволено. Грех великий на себя примешь.

Вдруг один долговязый мужик с голым, как колено, подбородком перешагнул через этот шнур и сказал:

— А мне богом дозволено,— и потянул за собой другого мужика, с ладонями шире лопаты.

Люди от испуга ахнули и, толкая друг друга, кинулись к двери, чтобы уйти от греха подальше. А долговязый мужик сбросил с себя армяк и предстал перед всеми в царской одежде. Люди еще больше испугались и пуще прежнего наперли друг на друга, проклиная узкие церковные двери. Человек в царской одежде строгим голосом крикнул:

— Стоять всем на месте! — и добавил: — Если кто хоть дрыгнет ногой, сухим веником того заставлю попарить.

Тут уж не только люди, сама церковь перестала дышать.

Мужиком в царской одежде, конечно, был Петр.

Когда наступила тишина, Петр подмигнул мирянам, засмеялся раскатисто, давая понять, что он пошутил, затем испытующе поглядел на попика, который ни жив ни мертв стоял рядом, оглядел плачущую икону и спросил Тычку:

— Большой ли тут заложен секрет?

Тот ответил:

— Что хитро, то и просто.

— Что надобно сделать, чтобы разгадать святую тайну? А то у самих святых отцов не найдешь концов.

Тычка мазнул пальцем по иконе, потом, не торопясь, обнюхал его и сказал:

— Для разгадки тайны требуется перед иконой поставить табурет и на него вам надобно встать.

Когда принесли табурет и Петр, взгромоздившись на него, заглянул за икону, он увидел на другой ее стороне старую деревянную плошку, заполненную лампадным маслом, а вернее, половину плошки, приклеенную к иконной доске. И приклеена она была точно на уровне глаз изображения богоматери. А на уровне ее зрачков, с обратной стороны проткнуты иглою две дырочки. Когда перед иконой зажигали свечи, масло в тех дырочках разжижалось, вытекало из них и медленно лилось по щекам святой богоматери.

Петр долго разглядывал икону, то с той, то с другой стороны, а потом спросил попа:

— С каких ты пор стал ворожить?

Тот жалобно и смиренно ответил:

— Когда нечего стало в рот положить.

Оказалось, что на строительство Питера-города согнали всех жителей близлежащих деревень. Люди добирались домой только спать, валясь с ног от усталости. У них совсем не оставалось времени приходить в свою церковь. Теперь они и венчались и причащались и все прочие свои божественные дела наспех справляли в городе. Служитель деревенской церкви остался совсем без прихода.

— А знаешь ли ты, для чего строится русский город на Неве? — спросил Петр насмерть перепуганного попа.

Рад бы ответить ему бедный попик, но он этого

не знал. Плюхнулся он плашмя на пол и нечеловеческим голосом завыл:

— Государь, кормилец и хранитель ты наш земной, пощади меня ради Христа, мной хоть лавки мой да еще дресвы подсыпай, только не губи.

Но у царя Петра уже дергалась щека и дрожали усы. Он обернулся к мирянам и сказал:

— Люди, вы слышали, что он говорит? А теперь посмотрите, что он сотворил.

Петр снял икону, повернул ее и обратную сторону показал мирянам. Этого ему мало показалось. Петр слез с табуретки, схватил попенка за гриву и выволок его на улицу, где толкалась уйма народу, жаждущая своими глазами поглядеть на плачущую икону. Петр опять икону показал людям с той и другой стороны, потом поставил ее на видное место, а содержимое плошки попу приказал не выхлебать, а вылакать по-собачьи, глаза богородицы вылизать насухо. И говорят, до самой кончины Петра глаза богородицы были сухими.

Мастер Тычка был как то дерево, на котором птицы вьют гнезда. К нему всегда тянулись люди. С доброхотом кому жить не охота? Но это не очень-то было по душе заводскому начальству, потому как густое дерево больше чувствует ветра. Особенно с большой опаской к мастеру Тычке относился хозяин завода Корней Белоглаз за то, что у Тычки был острый язык и к нему очень благоволил царь Петр. А этот Белоглаз был такой лапчатый гусь, который вроде бы и врать не врал, но и правду не говорил. Он умел одними и теми же устами сразу веять тепло и холод; одними и теми же глазами сразу смеяться и плакать. А когда ему приходила нужда обращаться

к каким-нибудь высокопоставленным чиновникам, он ухитрялся самому неугодному из них, обувшись, влезть в рот. И всем богам дать по сапогам. А за это, за немалые денежки, он мог из завода сплавлять войску государеву вместо ружей даже обыкновенные поленья. Лишь бы на ящиках было написано — ружья. Завод-то он считал лично своим, а государство — не личным.

Мастер Тычка, видя это, конечно, не мог молчать. Он корил мастеров:

— Что же вы делаете, разве можно так работать? Без пригляду только одни муравьи плодятся.

Ему отвечали:

— Не руби, что выше твоей головы, щепа глаза запорошит.

— Да ведь с такими ружьями можно целую рать погубить,— не унимался Тычка.

Его слова тут же передавались хозяину завода. Дабы онемить мастера Тычку, хозяин повелел своим помощникам отдать его на съедение «заводским волкам», а вернее натравить на Тычку самых злых людей, особенно тех, кто любит вбивать гвозди в корни растущего дерева и чужим здоровьем болеть. Белоглаз хотел Тычку опорочить так, чтобы тот впредь даже по надобности боялся своего имени называть. Но мастер Тычка считал, что придорожная пыль никогда не заслонит неба. Он по-своему продолжал жить и работать. Однако на его работу начальство умышленно старалось смотреть с безразличием: хоть разорвись надвое, скажут, а почему не на четверо? Или ему назло давали такую задачу, с которой бы мог свободно справиться ребенок. Но он ни от какой работы не отказывался.

Хозяин завода, видя, что таким способом мастера Тычку не пронять, а держать его на заводе все равно, что за пазухой — гремучую змею, вызвал однажды к себе Тычку, нахвалил его на все лады и приказал ему, перед тем как

аддерманы на ружья поставят клейма, с одним надежным человеком проверить на дальнем поле партию пищалей и фузей.

— Ну что ж, очень буду рад поглядеть, какие груши растут на наших заводских вербах,— сказал Тычка.

— И я буду рад,— весело произнес Белоглаз,— завтра поедете в Одоев. Там вас будут ждать.

А для чего так далеко посылают проверять пищали и фузеи, при разговоре с хозяином Тычка позабыл спросить. «Если это нужно для дела, почему бы не поехать. Может, там на учениях сейчас находятся солдаты»,— рассудил по дороге в цех Тычка.

Вслед за мастером Тычкой Корней Белоглаз вызвал того самого надежного человека, который должен поехать с Тычкой. Им оказался некий отставной козел из военных, по фамилии Тараканов, у коего от безделия руки, вися, так разболтались, что, кроме рюмки с вином, ничего уже боле не способны были поднять. И служил он у хозяина завода, вроде той рыжей собаки, которую однажды встретила черная и сказала:

— Ты бы пришла ко мне сегодня в гости.

— Не могу,— сказала рыжая.

— А что так?

— Да завтра мой хозяин рано утром едет за сеном, так надо наперед забегать и лаять.

Как только Тараканов вошел в кабинет Белоглаза, тот сразу из ящика стола вытащил пачку денег и таинственно сказал:

— Если из Одоева вернешься без мастера Тычки, эти деньги будут твои.

На следующий день Тараканов вместе с мастером Тычкой поехали в Одоев. Проходит неделя... А в начале второй приходит весть от Тараканова, что мастер Тычка погиб при неосторожном обращении с ружьем. В Туле сразу все за-

охали, заахали. Хозяин ружейного завода Корней Белоглаз и все тульские правители от горя просто не могут себе места найти, восклицая: «Какого великого мастера лишились». Из-под рук писарей одна бумага выходит плачевней другой. Весть о гибели Тычки дошла и до Петербурга. Не могли же здешние не известить царя. Петр и впрямь заволновался. Он знал цену таким мужикам, как Тычка, а цену самого Тычки тем более. Не мешкая, нескольких человек из своих приближенных отправил в Тулу. А здесь уж церковники мастера Тычку чуть ли не начали возводить в святые. Хозяин ружейного завода сам изволил произнести последнее слово над могилой великого мастера. И в то время, когда он в своем кабинете дописывал надгробную речь, вдруг открылась дверь и вошел мастер Тычка. Белоглаз чуть ума не лишился.

— Ты это откуда? — воскликнул он.

— Как откуда? Из Одоева,— сказал Тычка.

— Тебя же нет.

— Как нет, ежели стою перед тобой.

Хозяин завода тряс головой и ничего понять не мог.



Оказывается, отставной козел Тараканов был до того уверен, что застрелит мастера Тычку, он заранее дал весть о его смерти.

— Да что произошло, наконец? Расскажи, пожалуйста,— взмолился Корней Белоглаз.

— Произошла обыкновенная глупость,— сказал мастер Тычка.— Я не раз говорил вашему Тараканову: не трогай ружья, из них стрелять нельзя, они все негодные. А он, как всегда, был пьян. И вот в таком виде он наставил ружье на меня и закричал:

— Убегай, стрелять буду.

А что мне убегать, я знал, что ружье не выстрелит. Тараканов бабахнул, и в руках у него одна только ложа осталась и с этой ложей свалился он на землю. Вот и все. Выходит, что вместо меня он убил себя.

Ни в одном городе вести так быстро не разносятся, как в Туле. Через час кабинет хозяина ружейного завода был до отказа заполнен самыми маститыми людьми, которые, окружив мастера Тычку, укоряли его в том, что он не умер, а вернулся живым, тем самым поставил в неловкое положение самых знатных людей, коим теперь будет стыдно ходить по улицам и смотреть в глаза даже простолюдинам. И, наконец, мастера Тычку назвали свиньей и самым плохим человеком на свете.

— Позвольте,— сказал им мастер Тычка,— я ведь приехал не сегодня, а позавчера, уж хаживал по городу и слышал, как меня называли лучшим человеком России и великим мастером. А церковники возвели чуть ли не в святые. Значит, я безгрешен. И притом, если вы в эти дни горевали обо мне, так зачем мне умирать? Теперь вы говорите иное. Так каким же вашим словам надобно верить?

Знатным людям города нечего было сказать мастеру Тычке. Тогда его стали уговаривать, чтобы он эту историю не разносил далеко от Тулы, а они уж — отцы города, это сумеют оценить. Но тут явились посланцы Петра. Узнав, что мастер Тычка жив и какая история случилась с ним, задержались в Туле. Да кроме того, еще из ружейной канцелярии вызвали людей для проверки разных завод-

ских дел. А когда проверка закончилась, Петр издал такой указ:

Повелеваю хозяина Тульской Оружейной фабрики Корнея Белоглаза бить кнутом и сослать в монастырь на работу. Он, подлец, дерзнул войску государя продавать плохие пищали и фузеи.

Старшину алдермана Фролку Минаева бить кнутом и сослать в Азов, пусть не ставит клейма на плохо сделанное оружие.

Приказываю ружейной канцелярии из Петербурга переехать в Тулу и денно и нощно блюсти исправность ружей.

Пусть дьяки и подьячие смотрят, как алдерманы ставят клейма.

Буде сомнение возьмет за душу, самим проверить и смотром и стрельбою, два ружья каждый месяц стрелять, пока не испортятся, и смекать, что делать надобно.

Буде заминка в войне приключится, особливо при баталии по нерадению дьяков и подьячих, бить оных кнутом нещадно по оголенному месту.

Хозяина — 25 кнутом и пени по червонцу за каждое ружье.

Старшего алдермана бить до бесчувствия.

Старшего дьяка отдавать в унтер-офицеры.

Дьяка отдавать в писаря.

Подьячего отлучить от воскресной чарки на один год.

Новому хозяину ружейной фабрики Демидову повелеваю срубить дьякам и подьячим избы, дабы не хуже хозяйских были.

Буде хуже с оружием получаться, пусть Демидов не обижается, повелеваю живота лишить.

Петр I.

Мастеру Тычке тоже тогда срубили дом, но он его отдал сиротам, обучающимся на заводе мастерству.

Однажды в Тулу совсем неожиданно приехала Катерина II. Здешнее начальство привыкло одаривать царей, а тут и подарка никакого не подготовили. Что делать?

Забегали они по мастеровым людям, не держит ли кто в голове хорошую задумку, которую можно быстро выполнить.

Вдруг Тычка сказал:

— Есть у меня одна задумка, только понравится ли вам?

Все знали, что работы Тычки ценились высоко и раскупались за большие деньги для музеев и художественных галерей.

Только у начальства он был не в почете. Его всегда числили в списке неблагонадежных. Если где-нибудь вспыхивал бунт, даже за Уральскими горами, Тычку все равно на ночевку отправляли в острог, а днем держали прикованным на заводе.

В то время, когда приехала царица, где-то тоже бунтовали люди, и наш Тычка, как обычно, сидел прикованным к своему верстаку.

Так вот, когда он сказал про свою задумку, у начальства от радости даже глаза загорелись.

— Так, если есть у тебя задумка, выполняй ее,— сказали они,— а понравится или нет — там увидим. Что тебе для этого нужно: серебро или золото?

— Ничего не нужно,— сказал Тычка,— только ночь свободы.

Начальство сейчас же цех окружило солдатами и расковало Тычку. На второй день царице преподнесли изумительной красоты цепь цвета ночи и звезд. Царица была так довольна подарком, что насмотреться на него не могла.

Когда же пришли снова заковывать Тычку, то у него цепи не оказалось.

— Где же твоя цепь? — спросили его.

— Как — где? — сказал он.— На шее у царицы.

После того, как царице вручили цепь, к Тычке подошел ученик и спросил:

— Мастер, а мастер, почему так получается: только еще вчера царица говорила, что таких людей, как вы, нужно держать на виду у всей России, а сегодня она даже не хочет замечать вас?

— О, милый мой, богатые люди любят музыкантов, когда они только играют.

Тогда же произошел еще один случай. Прикатывает к Тычке богатейший заводчик по прозвищу Бубновый Туз. Был он из тех, что любили говорить с мастеровыми людьми не языком, а розгами.

— Выручай,— говорит он,— придумай что-нибудь, чтобы перед государыней я выглядел не хуже других. Сделай что-нибудь. Я тебя осыплю деньгами.

— Да стоит ли? — сказал Тычка.— Лучше ты деньгами пообсыпь дорогу перед царицей. Вот и покажешь себя.

Заводчик так и сделал.

Шагая по серебряным монетам, царица сначала была очень довольна. Но когда ей шепнули, что идет-то и топчет она свое изображение, так разгневалась, что приказала высечь заводчика розгами.

Начальник ружейного завода, прослышав, что рабочие думают бунтовать, зашел в цех, где работает Тычка, и сказал:

— Это ты, наверно, мутишь народ? Кормят тебя, одевают по-человечески, чего еще тебе не хватает?

Только он произнес эти слова, как в цех вбежал конторский служащий и воскликнул:

— Господин начальник, вас срочно просят явиться в контору. Государь с каким-то иноземным королем изволит ехать к нам.

А еще через час снова раздался голос того же конторщика:

— Тычка, к начальнику завода.

— За что? — спросил Тычка.

— Там узнаешь.

Плюнул со злостью Тычка, предчувствуя недоброе, вытер руки о фартук. Пошел. Но начальник на этот раз встретил его ласково.

— О, дорогой мой, — сказал он, — вот тебя как раз и ждем. Вон в той комнате переоденься в хорошую одежду и пойдем со мной. Тебя хочет видеть наш государь и один из иноземных королей.

— Так вы же сказали, что я одет по-человечески. Не буду пустой обряд исполнять.

Сел Тычка у порога и задымил своей трубкой. А трубка у него была что головешка. Ну, с трубкой еще шут с ней. Да штаны на нем еле держатся. И самое главное, на ложевой стороне дырка в пол-ладони.

— Ну как же ты покажешься с такой дыркой королю-то? — заговорили конторщики.

— А я к нему встану трубкой вперед.

— А дыркой?
— Прорехой же к нашему государю.
Так он и сделал.

Ох, уж эти цари... Простой человек может обойти всю Россию, и его никто не заметит. А императору стоит на каком-нибудь месте из кареты опустить ногу, это место считается уже историческим. Если же на землю поставит две ноги, то на том месте не иначе как взгромоздят ему памятник.

Однажды в Туле ожидали царя. Но он, приехав в Тулу, вдруг остановился в нашей слободе. Слобода стоит у самых ворот города, обычно все проскакивают мимо нее, а тут остановился сам царь. Для чего, толком никто не понял. Может, размять ноги после долгой езды, может, справить какую нужду. Очевидцы говорят: «Попрыгал, попрыгал он возле кареты и поехал дальше». После этого толпами к нам повалил из Тулы пожиточный народ. Всем хотелось знать, где стоял царь да что говорил.

Сначала наши жители ничего сказать не могли, каждый царя видел мельком. Но некоторые бойкие люди, увидев, что за рассказы начинают платить деньги, стали сочинять разные истории, и чем дальше шло время, тем рассказы выходили всё складнее и длиннее, и наконец дело дошло до того, что царю решили поставить памятник. И кого, вы думаете, заставили его делать? Наших же слободских мастеров.

Когда мужики отгрохали монумент, он так всем понравился, что даже сам царь пожелал посмотреть на него. По мнению знатоков, очень уж красивый и величественный получился. А коли так, этим дело должно и кончиться, но не тут-то было. После того как монумент поставили

на место, оказалось, что наша слобода теперь стала портить вид на памятник, и решили снести ее.

Тогда мастеровые сели у подножия памятника и задумались: «Что делать? Как спасти слободу?»

А как раз в это время мимо них проходил Тычка.

— О чем задумались, мужики, что чешете свои затылки? — спросил их Тычка.

— Да вот,— ответили мужики,— сгородили на свое горе эту громадину, а теперь и сами не рады.

— Так вам и надо, второй раз черта не будете делать красавцем.

— А если его делать таким, какой он есть, кто же на него будет смотреть тогда? — попробовали отшутиться мужики.

— Пусть сам и смотрит на себя,— ответил Тычка.

Подумали, подумали мужики: «А ведь истину говорит он».

В ночь перед тем, как приехать царю, мастера взяли и поставили на пьедестал вместо прежнего монумента такой, каким на самом деле был царь.

Но царь даже сам не захотел смотреть на свою копию. Он сказал:

— Это не я.

И приказал снести памятник.

Так и осталась слобода целой.

За заводскими воротами подростки нагнали Тычку.

— Дедушка, а дедушка, ведь вы когда-то были учителем нашего мастера?

— Я, сыночки, я.

— Скажите, дедушка, почему наш мастер только и знает, что говорит о своей теперешней работе, когда его

признали лучшим мастером? А вот только начнем у него спрашивать, как он учился у вас, сразу умолкает.

— Наверно, не всякой лягушке приятно вспоминать, что она тоже была головастиком.

Неизвестно, за что ученик Тычки избил сына надзирателя.

— Ну, теперь надзиратель вышвырнет из завода мальчишку,— говорили люди.

Но Тычка пошел к надзирателю и сказал:

— Знаете что? Ваш сын избил моего ученика.

— Что же такого? — ответил надзиратель.— Мальчишки есть мальчишки. Сегодня подерутся, а завтра помирятся. Стоит ли на это обращать внимание?

— Простите,— сказал Тычка,— я, кажется, не так сказал. Мой ученик избил вашего сына.

Надзиратель хотел раскричаться, но уже было поздно.



— Великий мастер, твой ученик снова вернулся к тебе.

— Что случилось, дружище? — спросил Тычка ученика.

— Беда, мастер. Как только сел за

отдельный верстак, у меня глаза не стали ладить с руками.

— Как это так?

— Глаза хотят делать эдак, а руки делают по-другому. И не знаю, кто из них прав.

— Тогда тебе, дружок, надо запомнить одну притчу. Послушай же ее.

Как-то раз глаза поспорили с руками, кто из них важней при работе.

Глаза сказали:

— Если бы мы не следили, как делают руки, они бы без нас ничего не могли делать.

А руки ответили:

— Если вы так высоко цените себя, следите на здоровье, а мы ничего не будем делать.

После этого, когда глазам хотелось что-нибудь сделать, руки прятались в карманы. А когда руки притрагивались к какой-нибудь вещи, глаза закрывали свои веки.

Однажды тому человеку, который имел эти глаза и руки, дали делать ни больше ни меньше как простые очки диаметром три с половиной сантиметра. Старший мастер положил перед глазами человека чертеж, а сам ушел. Руки, почувствовав работу, сейчас же полезли в ящик за инструментом. В это время на чертеж села муха и начала пожирать запятую, которая стояла между тройкой и пятеркой, а мухи очень любят тушь.

Глаза отвернулись от чертежа в сторону и сделали вид, что не замечают этого. Пока руки возились в ящике для инструментов, муха и съела запятую. Теперь уж получилось так, что очки стали диаметром не три с половиной сантиметра, а тридцать пять. А глаза прищурились и смеются: «Пусть,— думают себе,— помучаются руки, набьют себе мозоли».

А руки, закончив работу, эти очки надели на глаза.

Большим шутником был Тычка.

Как-то мастера ружейного завода встретились в засечном лесу и расхвастались. Один мастер сказал:

— Прошлым летом я сделал такое ружье, которым убил птицу величиной с годовалого бычка. Положили ее на крыло, а другое крыло покрыло весь стол.

Тычка выслушал его и проговорил:

— Сколько я ни делал ружей, никогда не приходилось убивать таких птиц, но однажды мне тоже повезло. Иду по лесу, гляжу — у елки лежит яйцо. Разбил его. Хотел размешать ложкой желток, но вдруг уронил ее вовнутрь. Попробовал достать пальцем — не достал. Просунул руку по локоть — не достал. Пришлось нырять за ложкой.

— Откуда же в нашем лесу взялось такое яйцо? — спросил мастер.

— От той птицы, которую ты убил прошлым летом,— ответил Тычка.

Однажды в ружейной канцелярии Тычка встретил мелкого чиновника, которого обычно в деревне со двора провожает только теленок.

— Здравствуй, Демьян,— сказал ему Тычка,— как живешь? Давай-ка где-нибудь присядем рядком да потолкуем ладком.

Чиновник поглядел на него свысока и спросил:

— А кто ты такой? Я тебя не помню.

— Как? — сказал Тычка.— Мы же с тобой лет десять проработали рядом.

— А это было давно. Гусь свинье — не товарищ.

— Да я такой гусь,— сказал Тычка,— что даже со свиньей могу поговорить.

Из этой же канцелярии один насмешливый чиновник, ставивший себя умником, спросил Тычку:

— Великий мастер, я слышал, что вы можете делать все. А смогли бы поставить воздушный дворец?

— А почему бы и нет,— ответил мастер Тычка,— если вы привезете воздушные кирпичи и воздушную глину для связки, а стены мы как-нибудь сумеем сложить.

Говорят, какой-то начальник — хитрец, ведавший тайными и самыми хитроумными делами ружейного завода, мучимый завистью к славе великого мастера,— однажды Тычку пригласил в гости с тремя его самыми лучшими учениками, чтобы его опозорить перед ними. Перед Тычкой и учениками он поставил такое жаркое, которое, может быть, подают только одному царю, да и то в праздничный день. Но себе он взял нормальную вилку, а им подал вилки с черенками чуть ли не больше аршина.

Один из учеников сказал:

— Великий мастер, нас, кажется, опозорили.

— Нисколько,— ответил Тычка,— угощайте друг друга этими вилками и будет красивым даже этот стол.

Изумился чиновник проницательному уму мастера Тычки, и говорят, что после этого он к мастеровым стал относиться лучше.

В Туле жил человек по сыскным делам — Филька Дерганов. При каждом царе носил новую шапку, а голова у него оставалась прежняя. Чтобы лучше поняли, каким он человеком был, расскажу один случай. Как-то его вызывает губернатор и говорит:

— Слушай, Дерганов, со мной случилась беда. В прошлом году государь мне за верную службу подарил трубку, а сегодня ее кто-то украл. Нужно ее найти.

— Слушаюсь. Через час будет трубка,— сказал Дерганов.

Не прошло и часа, Фильку снова вызвал губернатор.

— Не ищи, нашел трубку, она в кармане парадного мундира была...



— Как? — говорит Филька. — А я уж семерых мужиков задержал с вашей трубкой.

И вот этот Филька ходу не давал Тычке. Все время шастал по пятам. Один раз Тычка сам его пригласил домой и сказал:

— Слушай, Филька, как разобрался я, ты самый выдающийся человек в Туле. Решил увековечить тебя.

— Как?

— А так: решил выковать твой монумент.

Филька знал, что если Тычка сделает монумент, то он действительно останется на века. Недолго думая, сразу согласился.

— Значит, мне теперь придется ходить к тебе и позировать? — спросил он Тычку.

— Зачем, ты и так прилично мне намозолил глаза.

Хотя не по душе пришлись Дерганову эти слова, но ради монумента смолчал. Через какое-то время встречает он Тычку и спрашивает:

— Ну как дела с монументом?

— Готов.

— Где же он?

— Я уже давно передал в музей. Иди и любуйся собой.

Когда Филька зашел в музей, то сразу обомлел. Себя он увидел покрытым шерстью.

— Кто позволил здесь поставить такой статуй? — закричал он.

— А что, статуя даже очень симпатич-



ная,— сказали ему,— и сделал ее знаменитый мастер Тычка.

— Знаю, что Тычка, но он ведь выковал не человека, а обезьяну?

— Мы ему и заказывали обезьяну.

— Но лицо у этой обезьяны мое?

— А мы тут при чем, что вы похожи на обезьяну?

Ругался, ругался Филька и по-хорошему пробовал говорить, чтобы они убрали статую, и по-плохому, да все бесполезно. Так до сих пор и стоит его монумент в музее.

Рядом с Тычкой когда-то работал мастеровой по прозвищу Кузька Подливаев. Таким карьеристом он был, что ради своей карьеры готов из блохи сало вытопить и из ноги комара кровь высосать. И всегда он старался унизить Тычку. Однажды подходит к нему и говорит:

— Тычка, я слышал, что тебя считают умным человеком, а если так, скажи мне, что такое круговорот жизни?

— Что такое круговорот жизни? — в свою очередь спросил Тычка.— А это вот что: ты вот живешь, живешь, а потом раз — и умрешь, и на твоей могиле вырастет травка. Подойдет корова и съест эту травку, а потом после себя оставит большую лепешку. Подойду я к этой лепешке и скажу: «Здравствуй, Кузька, ты нисколько не изменился. Каким был, таким остался». Вот это и есть для тебя круговорот жизни.

Остротой ума и веселостью рук в Туле никто не мог сравниться с мастером Тычкой. Недаром его работные люди нарекли таким именем. В давние времена

на ружейном заводе тычкой называли керн — инструмент для разметки деталей. А наш веселый мастер мог не только на железе, а даже на самой плоской стороне человеческой жизни «откернить» такую деталь, которая людям запоминалась на века. Редко кто над ним осмеливался посмеяться. Но иной раз, подобно Кузьме, находились такие люди.

Кому не известно, что железо во все времена ценилось так же дорого, как и хлеб. Да и сейчас оно достается не дешевле хлеба. Недаром же хлеборобы до сих пор не могут спокойно проходить мимо напрасно брошенных зерен, а тульские мастеровые — мимо железа.

Как-то раз один из учеников Тычки, пришедший на завод из сытой семьи, увидев в кармане своего учителя ржавую подкову, подобранную на дороге, спросил:

— Мастер, не бедность ли у вас выглядывает из кармана?

— Нет,— сказал Тычка,— это невежество заглядывает в карман.

У всякой пташки есть свои замашки. Как-то раз не тот ученик, о котором сейчас был сказ, а совсем другой, опоясал ремешком голову, чтобы во время работы волосы не спадали на глаза, и сидит. Сидит он час. Сидит — два. И так просидел почти весь день. Перед концом работы подошел к нему Тычка и спросил:

— Ты что сидишь просто так?

— Да вот, мастер,— ответил ему ученик,— только стоит мне приступить к какому-нибудь делу, как сразу начинаю мерзнуть.

— И даже в летнюю жару?

— Да.

— Давно стал так мерзнуть?

— С самого детства. С малых лет мечтаю хоть раз в жизни согреться.

— Хорошо,— сказал Тычка,— я попробую тебе помочь.

Привел его в дровяной сарай и стал ему из штабеля подкидывать самые сучковатые чурбаки.

— А для чего ты мне их подкидываешь? — спросил его ученик.

Тычка сказал:

— Ты мечтал согреться хоть раз в жизни, а я хочу тебя сразу согреть дважды: первый раз, когда эти чурбаки будешь колоть на поленья, а второй — у огня.

Один парень сидел в курилке и говорил каждому:

— Ну, наконец-то вчера отвязался от своего великого учителя, сегодня уж за станком хозяйничаю сам. Увидите, как скоро оставлю его позади себя.

Учитель раз косо поглядел на своего ученика, другой...

Тогда парень не вытерпел, подошел к нему и спросил:

— Мастер, неужели вас обижают мои слова?

— Нисколько,— ответил учитель.

— А почему тогда коситесь на меня?

— Оттого, что если все время будешь говорить «сахар», во рту не будет сладко.

Мастер Тычка никогда не выбирал себе учеников. Он всех привечал одинаково. Смело напускал в свою горницу самую зеленую вольницу. Однажды ему привели такого кошкодава, который сам смотрит вдоль, а думает поперек. О какой работе ни заговорит с ним Тычка, он делать ничего не умеет.

— А хлеб-то хоть есть умеешь? — наконец его спросил мастер Тычка.

— Умею.

— А еще что?

— Коли поднесешь, так выпью.

Мастеру Тычке говорили:

— Зачем ты набираешь таких людей?

А он отвечал:

— Жигу крапива родится, да во щах уваривается.

Как ни печально, но мне не суждено, как моему великому земляку-туляку, говорить коротко и красно! Пусть уж не осудят люди, если мой рассказ сложится длинно и пестро.

Я родился в словоохотливой семье. У нас в доме было принято так: если кто-нибудь к нам заглядывал хоть на минуту, за щепоткой соли, его не отпускали до тех пор, пока тот не узнавал не только все подробности жизни нашей семьи, но и у какого соседа какой зуб держался хорошо, а какой и нет.

Мой отец работал мастером по портняжному делу. И славен он был тем, что умел не просто шить, как все обыкновенные швачи, а из сукна толщиною стены Тульского кремля отливать одежду каждому человеку по фигуре. И этим он своих клиентов доводил до такого сумлительного состояния, что, когда те приходили на примерку, сразу не могли понять, не то они родились голыми, не то в одежде моего отца. Так на них все было хорошо пригнано и подогнано.

Летом батюшка, как всегда, живал в городе, а зимой с матерью ездил по весям. Я полагаю: на равнинах и

холмах Центральной Руси не осталось таких стежек и дорожек, на которые бы не ступали веселые ноги моих родителей. Но по каким краям и землям матушка ни хаживала, а ради моего счастья изволила меня родить в столице русских мастеров, в городе Туле, которая, как гласят старинные предания, построена на отблеске самой счастливой звезды. А чтобы я был еще счастливее, она перед всеми моими тетками, живущими на Курковой, Штыковой, Ствольной, Дульной да еще на других подобных улицах, дала клятву отдать меня на учение самому лучшему мастеру, который бы мог научить не только ремеслу, но чтобы свои мысли я мог излагать так мудро, коротко и ясно, что к ним, как к боевому ружью, нельзя было бы ничего прибавить и ничего от них отнять.

Однако матушке свою мечту исполнить не пришлось. В какую-то зиму в одной деревушке, стоящей на берегу Красивой Мечи, от неведомой летучей болезни она вместе с батюшкой занедужила. Когда меня к ним привезли на свидание, я на погосте увидел только их кресты.



Не успев при родителях надеть картуз взрослого парня, я остался на попечении моего деда Егора Макарыча и бабки Аграфены Петровны, самой бойкой и голосистой женщины нашего города. А с какой страстью я ждал того дня, когда какой-нибудь торговец бойцовскими рукавицами мне бы при родителях сказал:

— Эй, паренек-пузырек, лакированный козырек из нашенской улицы, покупай рукавицы для кулачных боев на реке Тулице. Вижу, у тебя ладонь стала, как лопата. Бери, я сам в них бился когда-то.

Но что я мог сделать... Говорят, птичьего молока хоть в сказке найдешь, а другого отца-матери и в сказке не найдешь.

Как только я немного подрос, мои тетки собрались все вместе и начали гадать, к какому мастеру моя матушка хотела меня определить. Но сколько они ни спорили, к единой мысли так и не пришли. Каждой тетушке казалось, что ее муж был самый лучший мастер.

Пока они судили-рядили, дед меня стал приучать к своему ремеслу, не такому уж важному, как, допустим, у слесарей, токарей и граверов, но зато веселому и забавному. Он делал кружевные наличники для окон и украшал сказочными теремками печные трубы над крышами домов. Казалось бы, что это за ремесло для такого города как Тула, где люди совершали чудеса, но моему деду не гнушались подавать руки даже самые известные мастера, которые славились по всей России. А некоторые с ним здоровались даже в охапочку.

Туляки всегда отрадно относились к певчим птицам, к голубям и очень любили украшать свои дома. Мимо некоторых иной раз проходишь и не знаешь, не то мимо всамделишных идешь, не то мимо сказочных. Все стены завешены деревянными кружевами.

Итак, мой дедушка часть своей жизни проводил на земле, а часть — на крышах домов. Когда бабушка была очень не в духе, деду приходилось проводить на крышах больше времени, чем на земле. Но это бывало только в иной раз и в какие-то часы. А так моя бабушка и в деде и во мне не чаяла души.

В каждый воскресный день она нам пекла жамки.

И столько напекала, что их хватало нам всем до следующего такого праздника. Но к субботе они становились до того твердыми, что ими, как булыжными камнями, свободно можно было бы покрывать мостовые. Это нас с дедом не слишком беспокоило, ибо в Туле делались такие самовары, в которых можно было распаривать не только бабкины жамки, но и пушечные ядра.

Если в счет не брать те маленькие неприятности, которые иной раз могут случаться в каждой семье, то можно сказать, что в нашем доме царил мир и лад. В чужие дела мы никогда не вмешивались. Да и соседи нас не тревожили. По одну сторону от нашего дома жила очень добрая женщина — мастерица, которой, как говорила моя бабушка, «надо было бы жить не на земле с нами грешными, а прямо хозяйкой в раю».

По другую сторону нашего двора жил мастер Тычка.

Я о нем много сказать не могу. Мне со всей строгостью было приказано этого мастера не знать. Потому как о Тычке по городу ходили страшные слухи, будто бы он без ружья, одним словом, мог убить человека. Мой дядька Кузька Подливаев говорил: «В душе этого человека поселился бес для того, чтобы совращать людей». А моя бабка добавляла: «У него черт в подкладке, а сатана в заплатке». Поэтому я мимо его дома ходил с опаской.

У Тычки был облик самого обыкновенного человека. Бородка у него, как у Емельки Пугачева — лопаточкой. Волосы подстрижены скобочкой, ремешком опоясаны. Глаза карие, озорные, и в них всегда светились веселые звездочки. Ничем он не отличался от других мастеров, а если и отличался, может быть, только тем, что, кроме своих ног на ложевой стороне, имел еще четыре табуреточные ножки, которые его с утра до поздней ночи держали у верстака. Да еще на плечах-коромыслах он носил для солидности, как рудничные бадьи, два кулака. Мастер

Тычка жил широко и раздольно. А говорят, кто широко живет, тот не запирает ворот. В доме Тычки всегда толчился народ. И двери его избы были действительно широки, он их вырубал по своим плечам. Грешно признаться, они и меня иной раз затягивали в его избу послушать сказки и посмотреть, как Тычка колдует над железом, превращая его то в диковинных птиц, то в невиданных зверей. Но мой дядя так ненавидел Тычку, что, подобно зазнавшемуся замоскворецкому купцу, свой дом поставил задом к его фасаду.

Хотя я тогда был человеком не совсем разумного возраста, и, как моя бабушка говаривала, мне полагалось еще питаться чужим умом, но я уже видел, что мой дядюшка и мастер Тычка жили как два соседа из басурманской сказки, услышанной как-то в доме Тычки. Один из них делал горшки, а другой занимался стиркой белья. Горшечник был ленив и жил хуже, чем постирала. И вот из зависти он однажды решил погубить своего соседа. Пришел к царю и сказал:

— О, государь, мне становится все стыднее и стыднее, что тебе приходится ездить на сером слоне цвета крыс и мышей. А мог бы ездить на белом. В нашем городе живет искусный постирала. Это мой сосед. Прикажи ему — и он отмоет слона добела.

Царь был человеком не из умного десятка, вызвал постиралу и приказал слона отмыть добела. На это постирала ответил:

— Рад бы отмыть вашего слона добела, но прежде чем белье становится чистым и белым, его кипятят с мылом. У меня нет такого горшка, в котором бы поместился слон. В нашем городе есть искусный горшечник, это мой сосед, прикажи ему — и он сделает такой горшок.

Царь вызвал горшечника и приказал вылепить для слона горшок. Тот сколько ни искал слов для отказа,

ничего придумать не мог. Пришлось лепить. Когда горшок был готов, постирала намылил слона и под горшком развел огонь. Как только вода нагрелась для слона не в меру, он затопал, и горшок развалился. Горшечник сделал новый, но уже с толстыми стенками, однако в нем вода не нагревалась. После этого он сколько ни делал горшков, они оказывались то с толстыми стенками, то с тонкими — разваливались. Горшечник потерял заказчиков и умер с голоду.

Вспомнив эту сказку, я подумал: «Не оттого ли мой дядюшка боится мастера Тычки, что тот тоже может его заставить сделать подобный «горшок для слона». Оно почти так и получилось.

К дядюшке я хаживал редко. У него была такая повадка: «Подле пчелки — в медок, а подле жука — в навоз». А мой дед говорил: «Когда Кузьке Подливаеву надо подойти к нужному человеку, он может пройти по воробьиным яйцам и ни одно не раздавить». Но когда я узнал, что у дядьки Кузьмы находится письмо от моей матери, я к нему зачастил. Оказывается, матушка даже перед смертью не переставала думать обо мне. Она просила дядю, чтобы он привел меня на ружейный завод и определил к мастеру. А к какому, дядя о том сказывать не хотел. Как я ни молил его отвезти меня на завод, он всегда отвечал:

— Погоди, Серега, твое время еще не пришло.

А годы шли. Когда наш ружейный завод обрел большую славу, я совсем потерял надежду: столько повалило туда случайного люда! Начальство сначала даже растерялось и не знало, что предпринять. А потом кто-то повелел поперек ворот выставить стражу плечом к плечу с ружьями наперевес. Однако некоторые ловкачи даже через ружейные стволы умудрялись пролезть на завод, и каждый старался попасть ни куда-нибудь, а прямо в искусный цех. Хорошие мастера смешались с плохими, а плохие — с хорошими. Дядя сначала радовался этой сумятице. Но

когда он почувствовал, что среди случайных людей стал казаться чуть ли не великим мастером, его вдруг обуял страх и он слег в постель. Ведь только со стороны кажется, что великим быть хорошо. Попробуй-ка влезть в его шкуру, сейчас же с тебя будет другой спрос. А дядя другого спроса боялся, хотя и не прочь был называться великим. Достигнуть вершины ему никак не удавалось. В самый нужный момент, когда он мог вспрыгнуть не только до самой высокой должности, а даже до самого неба, бог всегда становился к нему спиной.

Заводское начальство огласило просьбу ко всем старым работным людям: «Кто найдет способ избавиться от серого потока случайных людей, наводнивших завод, тот будет награжден золотой медалью «Чести столицы русских мастеров».

Дядю будто ветром сдуло с постели. Изобретать подобные выдумки он считал себя мастаком. Не таких умельцев-мастеров ему приходилось останавливать перед воротами завода.

Золотую медаль мой дядюшка уже считал своей: он решил не только охранять ворота, но и вместо каждой доски на заборе поставить по стражу. Когда же пришел со своим предложением в заводскую контору, то оказалось, что он опоздал. Только что было принято какое-то предложение мастера Тычки, и за это ему вручили ту самую медаль, на которую нацелился дядя. А дяде сказали, что его предложение может слишком дорого обойтись заводу, потому как потребуется больше досок, чем есть на заборе, ибо возле каждого стража нужно будет ставить нужник.

Дядю обуяла такая обида, что он снова слег в постель.

Как-то прихожу я к нему, чтобы еще раз спросить, к какому же мастеру хотела определить меня моя матушка. А дядя мечется, как в белой горячке, по горнице и твердит:

— Моя, моя должна быть эта медаль. У него и фигуры-то совсем нет...

А потом как уставится на меня да как крикнет:

— Ты слышишь?

Я так испугался, что от страха закрыл глаза. А когда открыл их снова, смотрю, я стою дома перед бабушкой в одном валенке. Другой — не помню, в каком сугробе оставил. Стою перед ней и даже слова сказать не могу.

— Да что же с тобой случилось, опеночек ты мой крохотный? — говорит мне бабушка, хотя в это время я уже начал бегать на вечерки, к девкам.— Ты заплачь, может, тебе легче будет.

И правда, когда я заплакал, мне действительно легче стало. Вроде бы в горле какой-то ком расплавился, после чего у меня из души слова сами, без всякого принуждения вышли наружу. Бабушка чуть не рухнула на пол, когда услышала, что дядю Кузьму хватила кондрашка! И тогда следом за мной, только еще громче, с самыми горькими причитаниями, заплакала бабушка. А как же она могла не заплакать: как бы дурно ни живал и ни хаживал по земле дядя Кузя, а он нам роднёй приходится. Бабушка связала в узелок весь запас домашнего лекарства, которым лечила нас с дедушкой: пузырек дегтя, если нужно будет дяде помазать горло, клочок сена, если ему придется распаренным сеном подогреть живот, для облегчения души. Обычно люди крестятся только в один, красный, угол, а бабушка ради дяди Кузьмы перекрестилась во все четыре угла и вышла из избы. Вышла — и будто пропала.

Из лакированных дверок наших настенных часов деревянная кукушка выглянула один раз для кукования, потом второй, третий, четвертый... А бабушки все не было. Мы с дедом забеспокоились. Не случилось ли и с ней какая-нибудь притча? Когда кукушка выглянула в пятый раз, тут и явилась наша долгожданная Аграфена Петровна. Только она успела перекинуть ногу через порог, как сразу накинулась на деда:

— Ах ты, пустоголовый, пустоголовый, всю жизнь лазаешь по крышам и украшаешь чужие окна, а тебе ни чести, ни славы, ни доброго слова. Да и сам, наверное, не видишь толку в своей работе. Вон другие умеют жить: сидя на табурете, выходят в почетные люди да еще получают золотые медали.

Дед у меня был таким смирным, что его, кажется, никакими бранными словами нельзя было возмутить. А тут как вспыхнет:

— Ты что, бабка, рехнулась, что ли? Или голова у тебя не с того конца зарублена? На глазах носишь окошки, а не видишь ни крошки. Как это я в своей работе не вижу толку? Я, может быть, отвечаю за красоту целого города. А что касается медали, я так скажу: «Всяк умен, кто сперва, а кто опосля». И смотри у мине в следующий раз... только заговори об этом!

И дед так красиво погрозил пальцем, что даже бабке понравилось.

Наверное, мы и дальше жили бы по-прежнему не спеша и мирно: по вечерам попивали чаек у самовара, ни о чем тревожном более не думая, если бы тут не явился дядя Кузьма с распаренным сеном на животе и не хуже бабки прямо с порога зашумел:

— Вы только поглядите, что у нас стало твориться на заводе! Был там всегда порядок, а теперь, как ног у змеи, так и порядка там не найдешь. Кто начальству слюбится, тот и высится. А нас привязали как сказочную грешницу-блоху для мучения за ухо и почесаться даже не дают. Поэтому и получается, их посаженный талан как на дрожжах растет, а наш не лезет и не ползет. Когда время приходит до дележки: «Попу — куницу, дьяку — лисицу, пономарю — серого зайку, а просвирне-хлопотушке, вернее, уж нам, горюнам,— заячьи уши».

Вот так и на прошлой неделе получилось: всех от



торжества вдаль, а вашему соседу вручили медаль. А у Тычки даже фигуры не имеется. У него только голова да лапти. Ему медаль-то некуда вешать,— дядя расправил плечи, дал нам наглядеться на свою грудь и далее сказал: — Если к примеру взять других... Вот, допустим, Егора Макарыча, так у него не грудь, а прямо-таки — целые ворота, но на ней даже шляпки гвоздя нет, не то что медали. Разве это справедливо? Я спрашиваю, разве он хуже мастера Тычки?

Мы все молчали. У моего деда действительно была такая грудь, что ею можно было прикрыть проем заводских ворот, но, кроме двух родимых пупырышек, никакого украшения не было: хотя бы еще торчал деревянный сучок, что ли, не говоря уж о медали.

Мне стало жалко деда. А бабка молчала, молчала да как завопит. От ее крика даже на соборе Тульского кремля задрожали кресты. Ей не жалко было, что Тычка получил медаль, а обидно, что ее ему некуда вешать.

Что еще говорил дядя, я не мог услыхать: когда бабушке приходило настроение ругаться, она в минуту могла выпустить столько слов, что у нее горло накалялось почти докрасна, как пулеметный ствол. Только когда бабушка выдохлась, я от дяди услышал:

— Пойдем, Серега.

— Куды? — спросил я.

— На завод.

— А время ли?

— Теперь уж как раз время.

— А может, и правда, ему еще не пришло время идти на завод? — спросила бабушка. — Ему всего лишь пошел восемнадцатый годик. Ты лучше возьми старика.

— А мне что там делать? — сказал дед.

— Найдут, что делать. Хватит по крышам лазать. Там медали не раздают. И не вздумай мне больше перечить.



Дед раскрыл рот, все-таки хотел ей что-то возразить, но побоялся, что на соборе снова задрожат кресты. Накинул на плечи пиджак и направился к двери, лишь бы не слушать бабку. Дядя Кузьма толкнул меня вслед за ним, но тут бабушка сказала:

— Нет, я его из дома налегке не отпущу. Вы можете без еды и три дня прожить, а он у меня еще малой.

И как начала меня кашей кормить! Пока я не опростал полведерный чугун, она не позволила мне встать из-за стола. Хотела еще один чугун поставить передо мной, но тут уж не сдержался дед.

— Ты чего перегружаешь парня? — сказал он.— Что он тебе, багажный вагон с николаевской дороги? Или думаешь, под коленками носит лисоры?

От дедушкиных слов бабушка оторопела. Она была готова половину каши из меня снова высыпать, но я не кувшин с широким горлом и не горшок. Так дяде Кузьме и пришлось меня, отяжелевшего, вести на завод.

Когда мы перешли малый чугунный кружевной мост, перекинутый через отводной канал, вырытый между кремлем и ружейным заводом от полых вод, я увидел такое, что сразу, пожалуй, и рассказать не смогу.

Во все времена работные люди проходили на завод только через ворота. Но на этот раз ворота были закрыты. А рядом с ними стоял домик, самый обыкновенный домик, и на нем было написано: «Проходная». И его, оказывается, построил мастер Тычка, чтобы на завод не могли проходить те, кому там нечего делать.

В нынешнее время все проходные на заводах строят со многими дверями, расположенными в ряду, как звуковые щели на гармонных планках. А та, первая, имела только одни двери. Пока мы глядели на этот чудо-дом, выяснилось, что мой дядя, оказывается, выйти-то вышел через этот дом, а войти обратно боится и для пробы первыми

он хочет толкнуть нас с дедом. Может быть, я так бы и пошел на «авось», а он возьми да еще скажи:

— Глупа же была твоя матушка, нашла кому отдавать тебя на учение — мастеру Тычке. А он, видишь, какие козни строит людям!

Лучше бы дядюшка не говорил мне этих слов. Меня обуял такой страх и внутри я почувствовал такую пустоту, что не знаю, куда у меня подевалась каша. Будто растаяла, как ком снега. Я даже потерял равновесие, и сердце тревожно забилось о ребра, словно язык колокола на сторожевой башне, а потом оно, бедное, не выдержало, сорвалось с какого-то там крючка, и я почувствовал, как шмякнулось о самое донышко моего тела. Я чуть не потерял сознание, а когда очнулся, увидел, что дядя толкает меня к двери той проходной избушки и приговаривает:

— Иди, Сережа, иди, милый. У тебя семьи нет, дети по твоей головушке плакать не будут, тебе пока что нечего терять.

Боясь ослушаться старшего, я помянул на всякий случай всех близких и знакомых, набрал в себя побольше воздуха и сделал первый шаг. А всякий страх, как известно, на тараканьих ножках ходит. Иду и сам не могу понять, какая у меня нога должна вести, а какая за нею — плести и на какую надо опереться. Итак, все время испытывая страх, я сам не заметил, как прошел проходную и дошел чуть ли не до середины двора. И тут услышал голос дяди Кузьмы:

— Серега, что же это ты, голубчик, сам, значит, прошел, а родню можно и позабыть?

— Что вы, дядюшка,— сказал я,— разве я могу забыть когда-нибудь своих родных? Вы,— говорю,— дядюшка, не бойтесь, идите смелее и все ладно будет.

— Ты нас не учи, и без твоих советов обойдемся,— закричал на меня дядя.

Как они шли через проходную мастера Тычки, это уж вечером я узнал от деда.

Дядя опять не пошел первым, а выставил впереди себя деда. Дед был не из робкого десятка. Заходит он в дверь, смотрит, а там внутри еще две двери. На одной было написано: «Для входа молодым». На второй: «И не совсем...» Дед подумал, подумал и сказал себе: «Я человек не совсем уж молодой, зачем идти к молодым. Пойду-ка к «не совсем...» Заходит и видит еще две двери. На одной написано: «Для грамотных». А на другой: «И не совсем...». «Я не слишком грамотный,— опять подумал дед,— зачем мне идти к ним, открою-ка дверь, где написано: «Не совсем...» Открывает ту дверь, за ней оказалось еще две двери. На одной написано: «Для желающих принять муки мастерства». На второй: «Для тех, кто не нуждается в знании, но зато хочет получать деньги и звания». Дед хотел открыть дверь, за которой люди должны принимать муки мастерства. Но дядя настоял, чтобы открыть ту, где обещают давать деньги и звания. Когда открыли эту дверь, то они снова оказались на улице.

Деда-то сразу пригласили мастерить терем на крышу соседнего дома, дядя же долго околачивался без дела, пока не пристроился на другой завод. А меня кто первым встретил во дворе — это был мастер Тычка. Он подошел ко мне и сказал:

— Здравствуй, сосед, поздравляю тебя с приходом на завод.

И повел в свой цех. Когда я увидел перед собой верстаки и людей, стоящих перед ними, пал на колени, как всегда падает перед иконами моя бабушка, и вымолвил:

— Неужели все это я вижу не во сне? А ежели наяву,— обратился я к Тычке,— помогите мне стать мастером с таким же веселым нравом, как вы.

— Этого я сделать не могу,— сказал мне Тычка,— ве-

селый нрав даже на базаре не продают. А вот передавать теплоту своих рук даже самым холодным вещам научу.

И чему он сразу меня стал учить — это тому же, чему учил меня дед.

И теперь, когда меня самого стали называть мастером, иной раз смотрю на людей сквозь кружева своих изделий и думаю: «Может быть, не ахти как красивы и совершенны мои украшения на домах здесь, на грешной земле. Наверно, далеко им до прославленных украшений хоромов небесного рая. Люди, конечно, достойны лучшего. Но как бы церковники ни хвалили в своих книгах те хоромы, никто не торопится туда. Может, здесь чувствуют теплоту моих рук?»

Все невежды стараются людей ошарашить тем, чем другие совсем не имеют представления.

В то самое время, когда прославился наш ружейный завод, в искусном цехе появился один человек и перед всеми стал похваляться, что он такой мастер, даже самому черту может сшить вечные сапоги.

Но на всякого мудреца довольно простоты. Мастер Тычка его спросил:

— А смог бы ты самому обыкновенному человеку сшить самые обыкновенные сапоги?

А вот этого-то он, оказывается, сделать не мог.

Покрутился, покрутился «мудрец» и, поняв, что среди таких людей, как Тычка, не только шить для черта сапоги, даже дом на спине блохи не построишь. Бросил ремесло и стал торговать собаками.

Шарлатану все равно, кем быть: или первым министром, или в цирке клоуном.

Однажды к Тычке подходит шустрый мужик и говорит:

— Тычка, я хочу тебя обрадовать.

— Чем?

— Решил тебя взять своим напарником. А то напрашивается мой косорукий сосед.

— А кто ты? — спросил его Тычка.

— Разве ты не знаешь? Я же самый лучший резчик по дереву в Туле.

— А почему хромаешь?

— Да вот в прошлом году натер на пятке мозоль, все собираюсь ее срезать и никак не соберусь.

— Вот если сейчас при мне ее срежешь, тогда признаю лучшим резчиком,— сказал Тычка.

— А что нам стоит дом построить! — воскликнул мужик — и раз! И!.. прицелился бритвой на мозоль, а отхватил себе половину ложевой стороны.

— Пусть лучше твоим напарником будет косорукий сосед,— сказал Тычка.

— Здравствуй, Тычка! Я пришел к тебе с поклоном,— сказал другой мужик.

— С каким? — спросил его Тычка.

— Да видишь ли,— начал издалека мужик,— хочу на заводе поработать не руками, а глазами.

— Как так? — удивился Тычка.

— А так, решил стать браковщиком.

— А я тут при чем?

— Да вот, послали к тебе на проверку. Будь милостив, Тычка, не экзаменуй строго. Ведь сам знаешь: рыба всегда ищет, где глубже, а человек, где лучше.

— Хорошо,— сказал Тычка.

Поставил перед ним зеркало и спросил:

— Кого там видишь?

— Как — кого? Себя.

— А как узнал?

— По пиджаку.

— Ну если себя узнал только по пиджаку,— сказал Тычка,— то как ты будешь различать чужие работы?

Может быть, кому-то мои первые слова покажутся чудными и дивными, если я скажу, что из одного и того же цветка змея делает яд, а пчела — мед. Вот так же вот, как у этих двух существ, всегда получалось у Кузьки Подливаева и мастера Тычки. Вроде бы они дышали одним воздухом и делали одно и то же дело, а у них выходило разное.

Однажды тульские «дельцы-удальцы», которым всегда казалось, что у них слишком ложка узка, таскает по два куска, и они все время думали, как бы ее развести пошире, чтобы таскать по четыре, из-за какой-то своей выгоды решили их подружить. Но у Тычки и Подливаева получилась такая «дружба», когда между ними положили дюжину куриных яиц, они сразу сварились. И немудрено. Эти люди жили как две тучи, начиненные разными зарядами, хотя оба любили говаривать: «Чистота, правота — самая лучшая лепота». Да не оба любили выслушивать эти слова. Мастер Тычка этими словами жил. А Кузька Подливаев, как ястреб, целовать курочку любил и до последнего перышка.

Только Кузьке удавалось найти какое-нибудь сугревное местечко, где можно за счет кого-то легко и бездельно пожить, тут как тут перед ним появлялся мастер Тычка и сразу, без всякого зачина, прямо, столбовыми словами: «Ну, что, Подливаев, где твоя правота и чистота? Я думал, что ты не только сам честно будешь жить, но и других этому станешь учить, ты же оказался хуже того вруна-драгуна, который обещался впереди всего войска бежать, что под ним будет земля дрожать, а сам позади остался в грязи лежать». И приходилось бедному Кузьке уходить с того сугревного местечка с горькой песенкой, не хватив даже шилом сладкой патоки.

Подливаев не терпел мастера Тычку, как змея не терпит мяты, хотя мята растет у входа в ее нору. Если бы Кузька был чудодеем и смог сотворить дьявольские копыта со стуком, то с превеликим удовольствием он бы ими растоптал Тычку. И не просто растоптал, а чтобы вся Тула слышала топот его копыт. Подливаев даже пробовал изобрести такие копыта. Да чего только он ни пытался делать, чтобы уничтожить великого мастера! На это потратил все свои лучшие годы, отпущенные ему жизнью для благих дел.



А Тычка, как всегда, спокойно стоял перед ним, как тот зеленый стебелек мяты у входа в змеиную нору.

Кузьке казалось, что он постиг все секреты, даже такой, как одолеть чертей, а вот

как одолеть мастера Тычку — постигнуть не мог. И когда у него от злобы, бессилия и зависти совсем перетянулся кадык, дал слово: Тычку зарядить в пушку и выстрелить им, чтобы от него не осталось даже запаха в Туле. Хотя это слово Подливаев дал при людях, но не людям, а святым, о которых он слышал в детстве от слободского попа, но даже от них Кузька утаил, чьими руками он это задумал сделать.

Среди мастерового люда Кузька старался показать себя человеком божьим, хотя, как и все смертные, он был обшит кожей. И кроме того: костляв, как тарань. Кости что крючья, на них можно хомуты вешать. Рожа красная, перед ней можно онучи сушить. Длинен и прям, будто аршин проглотил. Торчком он все время хаживал, торчком меж людей себя показывал. Ему казалось, что если он длинен — и ум его высок. Поэтому он своих мыслей не прятал. Однако и угрожать великому мастеру открыто не решался. Когда Тычке сказали о задумке Подливаева, тот ответил:

— Эка невидаль, что к зиме надумал купить ядреную телку, будет ли еще на лето трава?

И вот, как раз в то время, когда волк овцой был, медведь стадовником, свинья огородником, ждали, когда черт умрет, как тогда тайком поговаривали о последнем русском царе, хотя тот еще и не думал хворать, Кузька Подливаев и решил совершить свое обещанное дело.

Однажды из чьих-то несвежих уст он услышал, будто бы в искусном цехе ружейного завода по совету Тычки мастеровые сколотили какую-то рабочую кассу для помощи бунтующим против царя людям. Кузька от радости чуть не подпрыгнул.

— Вот ты уже в пушке, «наш великий мастер»! — воскликнул он.— Сейчас мы сделаем так, что за тобой закроют замок... Бу-бух! — И поминай как звали.

Подливаев тут же побежал в ведомство по сыскным

делам и шепнул об этом Фильке Дерганову. Филька тоже очень обрадовался. Он давно был готов съесть мастера Тычку за то, что тот его изобразил в статуе обезьяной и для посмешища выставил в музее. Филька немедля шепнул кому надо повыше, а свыше еще выше и так это известие шепотом дошло до Питера, до самого царя.

Говорят, что после петровских времен все наши государи с очень большой опаской поглядывали на Тулу, боясь, как бы вдруг этот старый российский колчан не оказался в руках работного люда. Если до царских дворцовых палат доходили тревожные вести о людских волнениях, даже в других городах, Тулу сейчас же тайно объявляли городом особого присмотра. И туда, словно саранча, налетало столько тайных осведомителей, что стоило кому-то о пустяках поговорить с цыпленком, тут же об этом становилось известно свинье. А на этот раз, как только в Питере получили из Тулы такое известие, на второй же день ружейный завод чуть ли не вывернули наизнанку. Однако ничего не нашли. Но государь не поверил и в ружейный город послал самого скребастого чиновника. Не успел он ступить на тульскую землю, как сразу с таким рвением начал обнюхивать город, что не только простолюдины, а даже местные правители пришли в ужас. На что ни взглянет, все вянет. Росточком тот чиновник оказался масеньким, на вид ласеньким, но от его морды кошкой разило. И рожден он был, видимо, не как все скудные люди, а по-барски, сидя, потому что у него, словно у бочки, что верхнее дно, что нижнее были одинакового диаметра. Когда он говорил, трудно было понять, откуда у этого чиновника исходили мысли.

Ему казалось, что тут под каждым забором была запрятана бомба. Но как бы он ни был суров и какой бы он ни носил высокий титул, все же туляков до крайней степени ошарашить не мог. Этот город посещало немало

разных царей, королей, а сколько чиновников перебывало — не перечесть. Туляки имели большой опыт встречать гостей: и плохих и хороших. Они сами ошарашивали их. Отцы города перед тем, как гостям поклониться самим, перед собой выставляли таких здоровенных парней, что кушаком каждого можно было опоясать Рогожинскую слободу. Если бы кто-нибудь из гостей им предложил выпить за Тулу и за здравие русских мастеров и, подавая чары, спросил бы: «Сколько вам налить?» — чтобы те ответили: «Ты что, краев, что ли, не видишь?» Если бы кто-то еще им сказал: «Что вы умеете делать?» — они бы в себя набрали побольше воздуха и как из пушки выпалили: «Все умеем, государь, только нам прикажи». Когда вот такие парни предстали перед Скребастым и собрались выпалить: «Все мы умеем...» — он подошел к самому слабому, у которого, может быть, грудь была чуть меньше парового котла, и спросил:

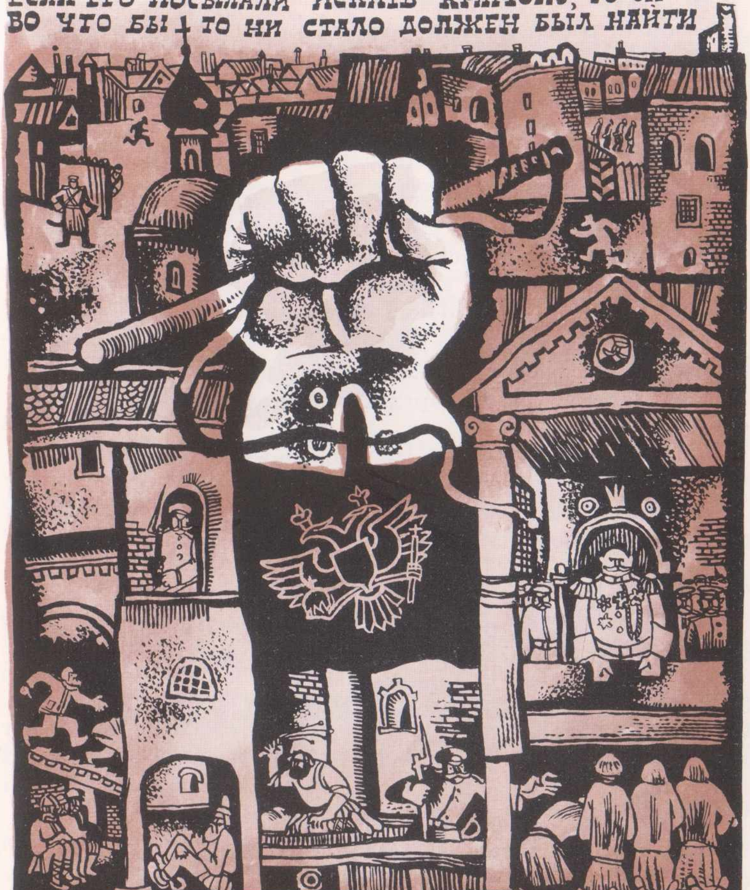
— Скажи мне, любезный, а сможешь ли зажарить бифштекс?

Тот и рот разинул, а за ним все остальные, потому как они не только не знали, как зажарить, а даже слова-то такого никогда не слыхали. И вхолостую из себя выпустили воздух. Отцы города тоже не ожидали такого вопроса. Они готовы были от обиды сжевать свои бороды. Но что делать? И Скребастый после этого пошел, как черт по бочкам, гулять по Туле. Но и он ничего плохого найти не мог. Когда пришел в искусный цех, он и там обнаружил очень даже пристойных и боголюбивых людей. Не в пример другим цехам здесь в уголке у дверей на полочке стояла икона, чтобы каждый вошедший имел возможность сначала помолиться, а потом уж приступить к своему делу. Перед иконой висела лампада, чтобы в ней все время поддерживался огонь, чуть ниже иконы, тоже на подставке, стояла медная кружка, сделанная из пушечной гильзы,

в нее бросали деньги для лампадного масла. Тронутый вниманием к всевышнему, Скребастый тоже бросил целковый в медную полугильзу. А в этой кружке-полугильзе как раз и собирали деньги бунтующим людям.

«Может быть, это, с одной стороны, хорошо,— рассуждал Скребастый,— но...» Его то самое «хорошо» не очень радовало. Из всех «обязательных» чиновников он был самый обязательный. Если его послали искать крамолу, то он во что бы то ни стало должен ее найти. Без этого Скребастый даже не мыслил возвращаться в столицу. Ездил он по заводам и высматривал, как себя ведут люди. И ездил он не по будничным улицам, заставлял их украшать празднично. А вечером приказывал в честь своего присутствия в ружейном городе палить из ружей. Туляки, забросив все свои дела, только и знали, что украшали улицы и палили из ружей. И поперечь слова не могли сказать. Как-никак, а он был доверенным лицом самого царя. А то вдруг притворялся больным и заставлял возле своей кровати волноваться людей. То у него вкус терялся, из полсотни блюд не мог выбрать одно, то от какой-то болезни у него вышибало память и забывал, какое вчера вино пил и по какому заводу ходил. Каких только ему именитых докторов ни вызывали, он их принимать не хотел. А крамола все еще была не найдена. Сейчас Скребастый был бы рад найти хоть какого-нибудь мошенника, чтобы оправдать свое звание и должность, а там уж железными батогами его можно в чем угодно заставить признаться, даже в том, что для бунтовщиков держит тайную кассу.

В то время, когда Скребастый начал мудрить со своими болезнями, из-за чего он, якобы, не может покинуть Тулу, Кузька Подливаев возьми да опять шепни Фильке Дерганову, что есть тут такой человек, который от всех болезней может лечить одним лекарством.



ЕСЛИ ЕГО ПОСЫЛАЛИ ИСКАТЬ КРАМОЛУ, ТО ОН ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО ДОЛЖЕН БЫЛ НАЙТИ

— Кто?

— Тычка.

Филька обрадованной рысцой донес эту весть до прихожей Скребастого, с прихожей донесли самому Скребастому, а тот так обрадовался, что даже вскочил с постели и воскликнул:

— Вот теперь я выведу на чистую воду хваленых туляков!

Он знал, что одним лекарством от всех болезней можно лечить только дураков. Приказал немедленно найти этого мошенника-лекаря и вместе с ним привести всех правителей города. Когда об этом узнали отцы города, сначала испугались, а потом даже очень обрадовались, рассудив, что если Тычка не сожрет Скребастого, то Скребастый сожрет Тычку. От кого-нибудь они избавятся.

Как только Тычка предстал перед Скребастым, тот сразу его спросил:

— Действительно ли ты можешь от всех болезней лечить одним лекарством?

Тычка тут же догадался, от кого дошел до Скребастого такой слух. Неожиданно для всех присутствующих сказал:

— Могу.

— И что тебе для этого надобно?

— Семь доверенных лиц от того человека, которого буду лечить, но только знающих и честных.

— Так, хорошо, а еще что?

— Тарелку с голубой каемкой, книгу с чистыми листами и помощника-писаря.

— И все?

— Все.

— Хорошо,— сказал Скребастый.

Для Тычки вызвали заводского писаря Никишку с конторской книжкой, принесли ему тарелку с голубой каемкой, а для себя Скребастый пригласил семь академи-

ков из семи академий. «Пусть теперь попробует соврать, мошенник»,— подумал он.

Неизвестно, откуда был этот Скребастый родом, но он знал царскую моду: «Прежде чем прикоснуться к тарелке, холуй должен оттуда откушать мерку. Если он со своих копыт не свалится, значит это кушанье можно есть смело». Жизнью своего испытанного питерского холуя он не решился рисковать, потребовал тульского. И Фильке Дерганову поручили такого найти.

Вернее Кузьки Подливаева Филька других холуев не знал и Скребастому привел его. Когда Кузька узнал, что он должен от мастера Тычки принимать лекарства, у него даже похолодело внутри. Но Филька Дерганов его успокоил: «Сам заварил кашу, теперь сам расхлебывай».

И вот пришел тот самый час, когда Кузька должен расхлебывать свою кашу.

В одном из залов того дома, в котором остановился Скребастый, сначала академики сели в ряд, а потом уж, как положено, все пошло подряд. Зашел в залу мастер Тычка и спросил Скребастого:

— На что вы жалуетесь? Чем вы страдаете?

— Мы,— указал он на Кузьку Подливаева,— страдаем одной болезнью. Потеряли вкус. Нам кажется одинаково, что есть дерево, что котлеты, что каменный уголь. Помогите нам вернуть вкус.

— Хорошо,— сказал мастер Тычка,— через три минуты у вас вкус будет восстановлен,— и крикнул писарю Никишке с конторской книжкой.— Принесите пилюлю номер один.

Когда Никишка ее принес и на тарелке с голубой каемкой подал Кузьке, мастер Тычка сказал:

— Жуй и хорошенько прожевывай.

Кузька и правда сначала стал жевать, а потом гневно воскликнул:

— Что это мне принесли? Это же самый настоящий булыжник из заводского двора, от него даже машинным маслом разит.

— Совершенно верно,— сказал Тычка и приказным тоном крикнул Никишке, чтобы тот записал на конторской книжке: вкус восстановлен.

— Это правда? — спросил Скребастый всех семерых академиков из семи академий.

— Совершенно верно,— ответили все семь академиков из семи академий.

«Ну да ладно,— подумал Скребастый,— посмотрим, как ты завтра будешь лечить следующую болезнь».

На второй день все снова собрались в этом зале.

— Чем вы еще страдаете? — с такой же вежливостью, как и вчера, спросил Тычка.

Ему снова ответил Скребастый.

— Мы страдаем потерей памяти. На что ни посмотрим, все тут же забываем, не говоря уж о том, что видели вчера.

— Хорошо,— сказал Тычка,— сейчас у вас память будет восстановлена. С кого сегодня будем начинать лечение?

— С него,— сказал Скребастый, указав на Кузьку Подливаева.

— Прекрасно.— И как вчера крикнул писарю Никишке с конторской книжкой: — Принесите пилюлю номер один.

Когда тот ее принес на тарелке с голубой каемкой, мастер Тычка не успел сказать: «Жуй хорошенько и прожевывай», как Кузька бешеным голосом взвыл:

— Это же тот самый булыжник!

— Совершенно верно, — сказал великий мастер, и опять он крикнул Никишке, чтобы тот записал на конторской книжке: память восстановлена.

— Это верно? — спросил Скребастый сразу всех семерых академиков.

— Совершенно точно,— ответили те.

— Ну, тогда, господа, покуля,— сказал Скребастый,— мне больше нечего делать в Туле.

И так он торопко и незаметно убрался из города, будто растаял, даже пыли после себя не оставил.

Как-то Кузька Подливаев в порыве хороших чувств сказал мастеру Тычке:

— Друг мой, хотя не всякая пословица при всяком молвится, а я скажу тебе: как трудно быть мастером изящных искусств и как мало это мастерство нам приносит средств. Иные мастера живут проще — обогащаются воровством.

Мастер Тычка на это ответил:

— Если бы можно было обогащаться воровством, то мышь была бы богаче всех.

Кузька Подливаев, хотя всю жизнь людям и делал черно, но иной раз в нем пробуждалось похвальное чувство молодца-доброхота, особенно перед праздничными днями. В это время он никогда не жаловался на человека, не предупредив его.

Однажды он приходит к Тычке и говорит:

— Тычка, я хочу на тебя жаловаться, но так как через несколько дней наступит Новый год, я не буду портить тебе настроения. Пожалуюсь после Нового года.

Проходит Новый год, после того еще две недели, а Кузькиной жалобы все нет. Мастер Тычка уж начал беспокоиться. Является он в контору и спрашивает:

— Не поступала на меня жалоба от Кузьки Подливаева?

— Да нет,— отвечают ему.

— Странно,— сказал мастер Тычка.— Он всегда был верен своему слову и никогда не шутил.

— Да, видно, на этот раз пошутил и свалился под тын,— ответили ему.

— Как?

— А очень даже так: умер и конец всему.

— Эй, парень, ты что пялишь глаза на облака? А станок твой плачет без присмотра.

— Да вот, что-то вчера себе записал на память, а что — не запомнил.

— Для памяти на облаках не записывают.

Наши деды долгое время верили в предание о том, что в стенах оружейного завода живет добрая и невидимая женщина по имени Тулянка — покровительница здешних мастеров.

День и ночь, пока в цехах стучали молотки, она ходила за спинами мастеров и нашептывала добрые мысли.

Если какому-нибудь молодцу нужно было идти на свидание с девушкой и он торопился скорее сделать задание, Тулянка брала его руки в свои, чтобы тот второпях не испортил работу. Старикам помогала разрешать мудрые дела.

Наши деды всячески старались оберегать свою покровительницу, и потому на ружейный завод долгое время не принимали женщин, чтобы не обидеть Тулянку, хотя ее никто и не видел. Но у Тычки все же училась одна девчушка изящному мастерству, правда, на дому, но училась. Да только толку в этом никто не видел.

— Красивой дивчиной родилась Машутка на свет,— говорили люди,— да только не Тулянкой.

За глаза смеялись и над ней и над Тычкой.

И тут вышло такое... На заводе работал парень. Сколько ему было лет, не припомню, только по заводскому счету он был в тех годах, когда по-настоящему человек начинает постигать мастерство. А в жизни человека это самый интересный момент. Обычно в это время он перестает замечать не только дни, но и годы.

И вот однажды парню сказали:

— Ерошка, тебе пора жениться.

— Да ну?

— Право слово. И усы уже пора подкручивать.

Погляделся парень в отшлифованную пластинку и призадумался: правду ведь говорят люди!

Прошло какое-то время, по заводу пошла молва: «Ерошка женился на ученице Тычки».

Что на это могут сказать люди? Одно: жить вам да поживать, а бабам, куда не след, нос не совать.

Но, заметьте, парень только начал входить во вкус своего ремесла. Ему нужно идти домой, а он никак не может оторваться от работы. Да и дома — сядет на минутку к верстаку, а просидит до полуночи.

Молодой жене обидно, что муж не находит с ней даже минуты для разговора, присядет рядом с ним и скажет:

— Ерошка...

— Чего тебе?

— Ты бы поговорил со мной.

— О чем говорить-то?

— Хотя бы о своей работе.

— А что ты понимаешь в моей работе? Возилась бы со своими чугунами — и дело.

После этого она начинала ворчать. Мастеру легче во время работы переносить удары палки по спине, чем

ворчание жены. Ерошка тоже на нее начинал повышать голос.

Не прожили они и месяца, как по заводу разнеслась весть: «От Ерошки убежала жена. Второй день по городу ее ищет».

Поник сразу парень, и работа у него стала валиться из рук.

Однажды Ерошка вышел из проходной будки и только начал переходить через чугунный мост, что перекинут через Упу, нагоняет его какая-то женщина. Лицо ее закрыто плотным кружевным покрывалом. На ней кофта цвета вороненой стали и коричневая юбка. Юбка разными дивными цветами разукрашена, какими резчики украшают подарочные ружья. А кофта тоже в несказанных золотых узорах.

Женщина ласково дотронулась до Ерошкиного плеча и сказала:

— Я слышала, что от тебя сбежала жена. Если так, то я за тебя выйду замуж.

— А ты кто? — спросил Ерошка.

— Я Тулянка.

Ерошка даже обомлел от ее слов и сказать ничего не может. Ведь он так много слышал о покровительнице ружейных мастеров. А она опять:

— Что ты боишься меня, разве я хуже твоей жены?



Нет, она была лучше его Маньки. Та курносая и какая-то такая... А эта даже с закрытым лицом похожа на царицу. У Ерошки кругом пошла голова. Что делать?

Бок о бок, шаг за шагом Ерошка незаметно с Тулянкой дошел до своего дома. Встал у крыльца и задумался: открывать ей двери или нет?

Та, как будто угадав его мысли, сказала:

— Ну хорошо, ты подумай, а как надумаешь жениться, позови. Я каждый вечер буду встречать тебя на чугунном мосту.

— Ладно,— сказал Ерошка.

Тулянка подала ему в знак дружбы платочек и ушла. Когда Ерошка зашел в избу, ему сразу бросился в глаза портрет, висящий в переднем углу, где они с Манькой сидят плечико в плечико, ладошка в ладошку. И так Ерошке стало нехорошо и стыдно, хоть проваливайся сквозь землю. Хотел было выбросить подаренный платок, но на нем увидел такие же дивные узоры, как и на одежде Тулянки. Он сразу бросился к верстаку... А если уж мастер сел за верстак, то лучше не пытайся его поднимать.

Вскоре эти узоры ему принесли такую славу, что его гравюры стали раскупаться даже для музеев. А Тулянка при каждой встрече ему дарила все новые и новые платочки с удивительными кружевными вязями и рисунками русских лесов и все время спрашивала:

— Ну, решил на мне жениться или все еще не можешь забыть прежнюю жену?

Однажды Ерошка подумал: «А в самом деле, что я болею душой за Маньку? Эта хоть мне принесла славу, а та что? Женюсь на Тулянке».

В следующий вечер он открыл перед ней двери своего дома. Но когда та отбросила от лица покрывало, вместо Тулянки Ерошка увидел свою жену.

Чтобы полюбить царевну-лягушку, надо быть Иваном: не всякий может поверить, что она вдруг станет девицей-красавицей.

В нашем преславном городе, на самой крайней улице, на берегу медовой речки Тулицы когда-то жила девчушечка Лушечка, такой уж она была хлопотушечкой: глазами гусей пасла, голосом песни пела, а руками пряжу пряла. Сама же маленька — чуть повыше валенка. Хоть Лушечка на вид и неказиста и ростом невеличка, но зато ровна, пряма, как елочка, как веретенце. Все бы у Лушечки ладно в жизни было, если не одно горе — парни ее стороной обходили. Как ни разводи руками, а каждой семье охота иметь либо доброго коня, либо здоровую невестку. Кому нужна такая игрушечка, как Лушечка, хотя она и была хлопотушечкой. И все, кому не лень, ее спрашивали:

— Да когда уж ты вырастешь? — И обязательно напоминали: — По годам тебя уж, поди, пора замуж выдавать.

— А куда мне торопиться? — отшучивалась Лушечка. — Торопливая речка до моря не добежит.

Так-то оно так, да только такие слова-напоминания Лушечка проглатывала с горечью, будто с полынной водой.

— Что поделаешь? — глядючи на нее с сожалением, говорили люди. — Хвощ тоже тощ, однако живет тоненько да помаленьку. Видно, и Лушечке такая судьба уготовлена.

А Лушечке так хотелось хоть немножечко побыть красивой и счастливой, лишь бы узнать, что это такое. Да счастье не конь: хомута на него не наденешь. Но каких только чудес не бывает на свете. Вдруг совсем нежданно ее узрел — не царь-царевич, не король-королевич, как это бывает в сказках, и не какой-нибудь другой богатый да для работы не удатый, а сосед Ивашка, родившийся

прямо в золотой рубашке, живущий двор обо двор, двадцать лет и семь ден ходивший мимо Лушечки и ее расписной избушечки, а приглядеться раньше к Лушечке у него как-то не хватало досуга.

Это был чудесный кузнец-молодец. С него хоть вместо Георгия Победоносца икону пиши: очи сокольи, брови собольи, русы волосы — сто рублей, буйна голова — тысяча, а всему молодцу и цены нет. Ходил как Ермак, заломя колпак, грудь наперед выставляя. А грудь у него — не грудь, а что твоя наковальня и вся она завешана медалями — за удаль да за талан. Стоило только Ивашке пройтись с серебряным звоном по родной слободе, как все девушки высыпали на улицу поглазеть на его медали. На то у селезня и зеркальца на крыльях, чтоб утки гляделись.

Может быть, Ивашка никогда бы и не приметил свою соседушку Лушечку, так и хаживал мимо, не ведая к ней никаких чувств, если бы не произошел такой случай. Однажды Ивашка очень занедужил. От какой болезни, я уж об этом поведать не могу. Но болезнь его будто цепью привязала к дому. И вот как-то раз, от скуки выйдя на берег речки Тулицы, протекавшей по другой стороне его улицы, чтобы поглазеть, как хитрые звезды, завидев зарю, с перемигалочкой будут прятаться в темном омуте, пока новая ночь, подобно птице, не махнет крылом и не покроет весь свет одним пером. И полюбоваться, как по заре зарянской прикатит солнце сиянское и во все окошки пустит по белой кошке. Вдруг будто с небес прозвучала девичья песня, обращенная к Ивашке, желая ему великого здоровья и счастья. И эта песня для него оказалась до того чудодейственной, что он вскоре встал и уже мог работать. А у Ивашки душа была высокая, мечтательная. Как только он поднялся на ноги, сейчас же стал искать ту девушку. Каждую ночь ждал ее песню. Но песня не повторялась. А он продолжал ждать. Ивашка представил,

какая эта девушка должна быть. По своему воображению он уже на бронзовом листе отчеканил ее фигуру. Она у него получилась высокая, статная, с грудью лебединой, с поступью павлиньей.

Когда он с работы приходил домой и матушка начинала говаривать, что она уже стала немощна и стара и пора уже Иванушке невесту подбирать, дабы хозяйство в ладу держать, Ивашка отвечал:

— А она у меня уже есть.

— Где же?

— А вот,— показывал ей изображение чудо-девицы на бронзовом листе,— хороша?

— На вид-то вроде пригожа, да только где же она?

— Найду. Есть на примете такая.

— Ну гляди. Ежели приметил, кто же будет против.

И вот однажды, ранним утром, как только звезды-каточки покатились по ясному мосточку и над засечными тульскими лесами поднялось солнышко, вдруг будто действительно как с небес прозвучал тот самый девичий голос, который так долго ждал Ивашка. Прислушался, пригляделся он, смотрит: на зеленом бугорочке какая-то девчушечка сидит и песней она со своей веретеночкой о девической жизни задушевный разговор ведет. Подошел к ней Иванушка поближе, а это, оказывается, его соседушка Лушечка. И так красиво и ладно сидит, что заглядеться на нее можно. А Иван-то был не просто кузнец, а кузнец-художник. Сам не заметил, как возле нее остановился и пройти мимо Лушечки не может. А она знай себе свою веретеночку крутит да девической песней Ивану голову мутит. Старая мудрость гласит: «Стоя вместе у колодца и ведро с ведром со звоном столкнется, а люди уж одним словом, да обязательно перемолвятся. А ежели между парнем и девкой разговор завяжется, тут им обоим от Рязани до Казани через Астрахань и дорожка прямой пока-

жется». С Иваном и Лушечкой почти так оно и получилось. Когда она с ним заговорила, его разум совсем замутила. После этого Ивашку, словно магнитом, стало тянуть к ней. Вроде бы Лушечке Ивашку и заманнуть было нечем. За ним гонялись девушки куда красивее и статнее ее. Да и разговоры она с Ивашкой не о девических делах вела, а все больше о ремеслах и красоте человеческих рук. А вот бестия, она его своими разговорами, будто цепочкой, привязала к себе. Теперь куда она, туда и он. Может, ему-то за Лушечкой ходить было и утехой, да только для людей они стали потехой.

Сначала Ивашка старался и виду не показать о своем влечении к Лушечке. Но любви, огня и кашля не скроешь от людей. От родителей тем более. Пусть ты будешь рожден от слепых, но когда нужно, родительское око видит далеко. Да и встречались-то они не на краю света, а за дорогой на бережку Тулицы. Тут не только через окно, через игольное ушко их даже можно увидеть.

Однажды мать подсела к Ивашке и с горечью сказала:

— Ванюшечка-душечка, паровой ты мой огурчик, не Лушечку ли ты надумал вести к нам вместо той красавицы, о которой раньше говаривал мне? Ты ведь знаешь ее давно, а пригляделся ли к ней как следует?

— А что приглядываться, она же не рубашка, разрисованная разными цветами.

— Как-никак, а вид тоже много значит.

— Балалайку же ценят в первую очередь не за вид, а как она звучит. А что, она уж так совсем не пригожа?

— Да ведь сестры твои давно выросли, кто же ею будет играться?

— Вырастет.

— Когда расти? Ей самой-то поди уж пора своих детей растить. Да и лицом не сказать уж очень гожа.

— Время придет и будет пригожа.

А Ивашкин батюшка лежал, лежал на печи, видит, что сын разговором забивает его старуху, решил заступиться за нее:

— Чай она, эта самая Лушка, человек, а не дерево какое,— сказал он.— Это из дерева можно, что угодно сделать; хоть лопату, хоть тебе икону, хоть из него балясы точи.

— Она и не картина,— добавила матушка.— Некрасиву картину можно замазать и другую нарисовать, а из нее чё?

— Да ничё.

Хотя Ивашкины родители с Лушечкой жили двор обо двор и калитку имели для душевных встреч в ее двор, но теперь от всякой напасти старик решил ее забить. И забить не обыкновенными железными гвоздями, а латунными шпигерями, чтобы они до Ивашкиной старости не могли заржаветь. Но забить-то он забил, но только позабыл, что Ивашка давно уж вырос из ребяческих штанов. Не говоря уж о большой радости, даже по малой радости он мог сигануть через заводскую трубу. А через эту запретную калитку он шастал по три раза за вечер.

Как бы ни закрывались и ни огораживались Ивашкины родители от Лушечки, а ей было не до женихов всяких и не до их сына: ее голову занимали совсем другие думы.

Мать у Лушечки была златошвеей и славилась необыкновенным мастерством — шить парадную одежду и платья для великих праздников и прочих знаменательных дней, которые иногда бывают только раз в жизни. Из далеких городов ей присылали заказы. И немудрено. Ведь птица славится перьем, а человек уменьем. Но она была в таких годах, когда уж время ее начало коробить, как бересту на огне. И бедная мастерица, сама не замечая как, стала портить свою работу. А потом ее золотая игла навечно спать легла.

Эта беда по Лушечкиному дому, словно головней,

прокатилась. Бедная девчушечка около трех недель из угла в угол ходила, будто пальцы растерявши. Сразу попала в такой тупик, что не знала, как из него выйти. В доме, как говорят, остались пыль да копоть и нечего лопать. Но нужда научит и кузнеца сапоги тачать. Да притом, кто стоит, тот не едет, а кто едет — не стоит. Однажды Лушечка села за материнский верстачок и молвила:

— Волка бояться, так и в лес не ходить. Была не была — пошла такова. Удастся — квас, а не удастся — кислы щи. На всяку беду страху не напасешься.

Вдела ниточку в ушко золотой иголочки, бывшей материнской кормилицы, и повела в своей жизни первую строчку. Сначала у нее выходило, как обычно шутят швачи, аршин на кафтан, а два — на заплаты. Да и что с девчоночки взять, когда у нее не было ни шагу, ни рыси, ни ходу, ни спотыкачки. Что и говорить, на перва́х работа у нее получалась неказисто: ведь незнамая прямизна всегда выводит на кривизну. А потом дело пошло словно вприсядочку. Даже матушка от радости оживилась и, забыв про болезнь, стала Лушечке свои секреты выкладывать. И так они увлеченно и споро за работою-сказочкою зажили, что люди им стали завидовать. Лушечка уж и свои секреты нажила. Заказы, как прежде, поступали на имя матушки, а выполняла их дочь. Это никому и в голову не приходило; ведь Лушечка такая маленька — чуть повыше валенка, разве она может делать такие красивые и добротные вещи. Но усердие и ремесло — родичи.

Так, наверное, Лушечка со своей матушкой и продолжали бы жить весело и споро. Однако, говорят, что стоит только одну беду нажить, другая сама придет. Не успела как следует матушка нарадоваться на свою дочь, ан вон и свет померк в ее очах. Много лет ей кукушка накуковала, но обманула. И опять наша Лушечка попала из хомута да в шлейку. При спехе и угоде перед заказчиками мать



ее даже не успела посвятить в мастера. Кто ей теперь может без нее доверить дорогие заказы? Иные из них бывали такими дорогими, что за них за половину жизни не расплатишься. Недаром и говорят: «Не накормлен конь — скотина, не пожалован молодец — сиротина». Вроде бы теперь у Лушечки и разума стало больше, да не к чему руки приложить. И остался ей от матери подарок только свечи огарок. И снова Лушечка до того дожила, хоть из щеп похлебку вари. Матери нет, заказы никто

не приносит и не присылает. А тут еще худые люди стали над ней подсмехаться, что, мол, Лушечкина матушка своей дочери оставила для приданого только сосновый горшок, свиной рожок да липовы два горшка и те сгорели. А дочь еще хочет выйти замуж за кудрявого молодца с дюжиной карманов с серебром. А Лушечке было так больно это слышать, она от обиды прямо перед ними вилась ужом, топорщилась ежом и до изнеможения твердила им:

— Мне матушка оставила приданое дороже серебра и золота, только они вашим глазам не видимы.

— Где? — насмешливо спрашивали ее.— В деревне меж Кашина и Ростова, позади Козьмы Толстова?

— Об этом знает только моя грудь и подоплека,— отвечала им Лушечка.

Люди смеялись над ней так, что земли под собой не слышали. Бедная девчушечка начала бояться и на люди выходить. А в застенье и трава желкнет. И наша Лушечка и впрямь стала похожа на завядший стебелек. Но при встрече с насмешниками она все равно твердила:

— Есть у меня приданое, есть.

И некоторые стали подумывать: «А может, и правда есть?»

И тут кто-то пустил слух, будто бы действительно Лушечке мать оставила для приданого клад, только перед смертью она не успела сказать, куда его запрятала. И сразу у девчушечки появилось столько «добродетелей»: одни хотели починить ее избушку, другие баню, третьи перекопать огород. Несмотря на Лушечкины отказы, все равно в стенах ее дома перестукали все обшивки, за которыми, может, запрятан клад, перебрали пол, потолок. Огород перекопали так, будто землю пересеяли через решето. Но клада все не было. Оставалось перебрать только баню. Думая: «Если Лушечкина мать была колдуньей

и водила дружбу с нечистыми, то ей больше некуда прятать свое добро», раза четыре перекладывали баньку. И под нею чуть ли не сквозь землю прокопали дыру. Может быть, и прокопали бы сквозь, да побоялись, что с другой стороны земли может сюда хлынуть вода из Тихого океана, потом не оберешься греха. А Ивашка чем только ни старался помочь: и хлебом и деньгами. И в свой дом ее приглашал жить. И сам готов был к ней перейти. Она же ото всего отказывалась, говоря, что сама может прожить в достатке. А сама-то уж еле ходила. И не знал Ивашка, чем больше ей помочь.

Думал, думал и пошел за советом к своему учителю мастеру Тычке. Рассказал ему все, что он знал и что думал о Лушечке, и не забыл поведать учителю и о ее загадочном приданом, которого, судя по их жизни с матерью, совсем не могло и быть. Пусть даже люди бы его искали сто лет.

— А почему не должно? — спросил Тычка.— Каждый родитель должен оставить для своей дочери приданое, а для сына — подарок для будущей жизни. Есть и у этой девчушки приданое. Может, действительно, оно сейчас затеряно. А мы должны ей помочь вернуть. Собери-ка всех своих друзей, которые вместе с тобой учились у меня. И скажи матери своей, чтобы она собрала нам стол с праздничным убранством. И поставила на стол не дворянское кушанье — два грибка на тарелочке, а чтоб на нем была курочка ряжена, требуха парена, кобылка, гусятинки да стегно поросятинки. Чтоб посидеть потесней и поговорить потеплей. А ежели нет этого, то пусть на стол ставит мать нашу — гречневу кашу. А ежели нет и этого, пусть ставит редьку. В редьке пять ествв: редечка триха, редечка ломтиха, редечка с маслом, редечка с квасом да редечка так, или просто один квасок, который бы шибал в носок. Ежели уж нет и того, тоже ничего. Медведь одну лапу сосет да всю зиму живет.

Пришел Ивашка домой, поставил на стол еду, самую едучую, вилки тульские самые скребучие и питье самое пахучее. Только он собрался идти за друзьями, они по запаху нашли его сами. Когда все расселись по местам, великий мастер молвил:

— Милые мои молодцы! На моих дрожжах ваше тесто взошло. Теперь вы сами учите людей доброте. Спасибо вам за удаль и лихость в работе и за честность в жизни. И платья у вас всегда были чисты и речи честны. И сейчас от чиста сердца чисто зрят ваши очи. Красная слава о вас ходит. Честным мужам честен и поклон. Я знаю, никто из вас не может идти сам по себе на радость, поэтому я и попросил Иванушку вас собрать здесь. В нескольких шагах от этого дома дочь одной мастерицы, оставшись теперь сироткой, попала в большую беду. Для того, чтобы ее выручить, вам надо своих невест нарядить в такие красивые платья, какие еще не нашивали ни царицы, ни королевы. И сами вы должны одеться не хуже королей, пусть даже вам придется жить впроголодь целый год. А я, в свою очередь, попрошу всех молодых мастеров нашего города, чтобы они помогли вам, да и сам в долгу не останусь перед вами.

— Ежели надо, мы сами на себе понесем, а дочь мастерицы выручим,— воскликнули ученики великого мастера.

— Ну что ж,— сказал мастер Тычка,— честь чести на слово верит.

— Правдивому мужу лукавство не под нужу,— ответили ему ученики.

Мало ли, много времени прошло, вдруг на лебединых конях к Лушечке прикатили три молодца с таким расчудесным товаром, какого и матушка ее не видывала. И они попросили свой заказ исполнить не Лушечкину матушку, как бывало раньше, а саму Лушечку да назвали

девчушечку не только по имени, но и по отчеству. Лушечка так растерялась, от неожиданности даже присела и совсем оробела. Но только она в руки мерку взяла — и робость куда-то подевалась. Знамо дело: талан не туман, не мимо идет. А через три недели Лушечка увидела первый поклон за свое мастерство. И личиком она сразу стала бела и с очей весела. За этими парнями еще пришли трое парней. А потом еще три раза по трое. И пошло у Лушечки дело на лад. В городе только и говорили о ее мастерстве. От добрых похвал Лушечка выросла и стала настолько красива, глаз от нее не отвести: очи звездасты, рассыпчаты, грудь лебедина, поступь павлинья. Когда идет, будто из милости башмачком травки-муравки дотрагивается. Ну точно такая, какой ее Ивашка по воображению отчеканил на бронзовом листе.

Ивашкины родители даже не узнали Лушечку. Мать глядела, глядела на нее и сказала сыну:

— Вот на этой красавице надо было сразу тебе и жениться.

Иванушка только улыбнулся в ответ. А мастер Тычка, любуясь Лушечкой, молвил:

— Много ли человеку надо, чтобы стать красивым — только чуточку доброты.

После этого, конечно, был пир на весь мир, а на том пиру — уйма народу. Всем хотелось знать, какое приданое Лушечке оставила мать. И Лушечка с гордостью всем показывала свои руки.

Всякое мастерство любит не только сноровку и терпение, но и веселую удаль.

Иной раз посмотришь на обыкновенного каменотеса, он словно играючи из камня лыко дерет. И так у него

красносмотрительно выходит, будто из камней сказки складывает. А отойдет от своего детища — мужик мужиком. И никто не подумает, что он творец-художник. Так и бабы у нас, вроде бы на первый взгляд неуклюжи, да на деле очень проворны и дюжи. Некоторые даже по мужицкому ремеслу любого молодца за пояс заткнут и ахнуть ему не дадут.

Глядючи на наших девушек, чуженины из ближайших городов и весей всегда с удивлением и завистью говаривали:

— Глянь-кось, тульские муравейки-невелички, а на себе таскают больше своего веса, да еще легко и красиво.

Конечно, с берега всегда красиво смотреть на гребцов.

И сколько людей с разных сторон ни старались к себе заманивать наших тулянок, обещая им всякие блага, ни одна из них не соглашалась покинуть своего города. И по очень простой причине. Если человек хоть раз испытал хмельную радость своего рукотворства, заставляющего волновать других, он уже не может жить и работать только ради хлеба и даже большого достатка. Посади его в царский дворец, он и там будет себя чувствовать несчастным. Об этом сложено немало печальных легенд, но самая печальная из них — о лучнице Катерине — непокорной душе.

Когда-то на зеленом уголочке тульской земли, на том чудесном месте, где с детской радостью встречаются серебряные воды Тулицы с небесно-голубыми водами величавой реки Упы, жил лучник Аноха. Нельзя сказать, что он ленив и для семьи работал плохо, но был не из тех мастеров, что гладко стружат и кудрявыми стружками вьюжат. Ремесло его скудно кормило. Жил, как говорится, в Туле, а ел дули. А приучаться к другому — было уже поздно. Анохе так опротивело свое ремесло, что когда он приступал к работе, его начинало тошнить. Но нужда может заставить не только опротивевшую работу делать,

а даже черту зубы чистить. И никуда не денешься. И жить Аношке было тяжко и умирать боялся, как бы его на том свете не заставили мастерить луки и стрелы. А была у Анохи дочушка по имени Катюшка. Хороша — как писаная миска. Быстра, проворна и на руку легка. За что ни возьмется, все у нее в руках горит. Мать-то за ней больно не следила. Кроме Катюши, у нее было еще два сидня, два лежня и два ползня. Девчушка своей волей и жила. А руки у нее молодые да свежие, играться бы им как котятам, не зная усталости. А нечем. Мать даст ей постирать пеленки, а что для нее эти пеленки — шырк-мырк, и они уже на веревке. Руки какого-то другого дела просили. От нечего делать иной раз Катюшка присядет к отцу и начинает его пытать, почему это не эдак, почему то не так.

— Много будешь знать, скоро состаришься,— обрывал ее Аноха.

А Катюшка, будто не слыша его, опять за свое:

— Почему калены стрелы и луки ты делаешь не так, как дед Григорий, а дед Григорий — не так, как дед Егорий. У одних стрелы летят дальше, а у других — нет?

— Бог про то весть, что в котоме-то есть: а ведому и тому, кто несет котому.

— А почему всяк свою тайну так бережет?

— О чем не сказывают, о том не допытываются,— уже сердясь, говорил Аноха и прогонял ее прочь.

А Катюшку еще больше любопытство брало. Ей было жалко отца, что его за мастерство не так почитали, как деда Григория и деда Егория. Она начала похаживать к ним и другим мастерам по лучному делу да поглядывать за их работой. А потом, тайком от отца, и сама стала мастерить луки и стрелы. Сперва не прытко, а там потише. Скоро только блины пекут.

А когда смелости набралась, со своей работой на посиделки начала похаживать.

— Давай, Катюшечка-душечка, постигай мужицкую науку, если она пойдет тебе на руку,— шутили над ней мастера.

— А не дойдет ли, правда, она до вашего умельства? — с опаской спрашивали их жены.

— Дойдет, обязательно дойдет, пока песок по камню взойдет,— отвечали мастера.— Но бывают и такие чудеса, когда курица поет и печка кашляет.

На первый взгляд кажется, чего еще проще, как изготовить лук. Возьми гибкую ветку, согни, приладь к ней бечеву, и он готов. Может быть, где так и делался лук, а на Руси он никогда не изготовлялся из одного куска дерева, а всегда был составным. И не всякое дерево годилось для этого дела. Очень пригодным считались ясень, вяз и можжевельник. А делали так: продольные слои этих деревьев складывались и склеивались. Между ними для упругости ставились роговые пластины и проваренные сухожилия животных. Все это прессовали и долго просушивали, иногда по нескольку лет. Концы лука, которые назывались рогами, при сушке выгибались в обратную сторону. Перед тем, как накладывать тетиву, лук обклеивали кожей или берестой. Тетиву делали из сухожилий или скрученных кишок животных, из сыромятного ремешка, а иной раз даже из шелка. Верхняя, выпуклая часть лука называлась хребтом, а верхние части рогов — подзорами.

Стрелу тоже не очень просто делать. Она не только должна быть прямой, но мастеру нужно было рассчитать так, чтобы центр тяжести находился на границе первой трети ее длины — ближе к наконечнику. Изготовляли их или из тростника или из легкого дерева. Но самыми лучшими считались «каленые» стрелы. Такое название они получили от слова «колоть», «раскалывать». Это были

стрелы, склеенные в продольном направлении из четырех частей. Затем на древко насаживали кольцо или железо. Сзади прорезывали ушко для тетивы, закрепляли перья. На Руси очень ценились стрелы с орлиными перьями. Но это еще не все. Мастеру нужно сделать колчан или, как еще его называли, «тул» из дерева или кожи, по-своему украсить, чтобы угадывали сделавшего его мастера. Каждый колчан рассчитывался на пятьдесят-шестьдесят стрел. Стрелы расходовались очень быстро. Хороший лучник в одну минуту мог выпускать по десять-двенадцать стрел. Сам лук размещался в особом футляре-налуче. Тул и налуч прикреплялись к поясу. Все снаряжение лучника называлось саадаком. Стрелы, выпущенные из лука за триста шагов, могли пробивать толстую дубовую доску. А выпущенные из сильного лука летели на расстояние до восьмисот метров.

Секрет изготовления луков и стрел каждый мастер скрывал от другого, как огонь скрывается в кремне. Он передавался по наследству, от одного поколения к другому. Катюшу никто не остерегался. Ее считали несмышленышем. А она, играючись, так приноровилась к этому ремеслу, что анохинские стрелы пошли в ход и стали лучшими. Правда, пока они стали такими, за это время Катюша уже успела подрасти. Она удивительной казалась людям. О ней говорили:

— Эко, каналья, прямо заживо творит чудеса.

Хорошая нива — всякому в диво. А потом старики с грустью добавляли:

— Что делать... Горы падают, долы встают.

Катюша, и правда, так вымахала, что ее хоть замуж выдавай.

Аноха сначала-то за Катюшу обрадовался, а потом, спохватившись, подумал: «Чего это я радуюсь? Если бы она была бы парнем, то это рукоделие ему бы пригодилось.

А она — Катюша. Как только замуж выйдет, сейчас же все эти игрушки забросит, ей некогда будет с луками и стрелами заниматься, надо за детьми следить. Пока о ней слава идет, надо поторопиться выдать ее за какого-нибудь пожиточного парня и самому хоть немножко возле них пожить по-человечески».

А Катюша возьми и прилипни, и не к кому-нибудь, а к Ивану Озорнину, которого в нашем городе еще прозывали мастером Тычкой, за коим по царскому указу следили сразу тридцать три глаза, потому как старшему следильщику было велено одним глазом поглядывать еще за другими мастеровыми.

Правда, мастер Тычка нравился Анохе, он его уважал и за смелость, и за смекалистость, и за справедливость. Но ежели бы он ко всему этому был бы и пожиточным, это еще так-сяк. А то ведь у этого Ваньки Озорнина, как и у Анохи, один хлеб да живот — и без денег живет. Но дело в том, что он и Катюшка как-то сразу сдружились, будто их сам черт веревочкой связал. Дело уж дошло до того, что даже при людях начали в переглядушки играть. «Куда-нибудь бес, что ли, этого Ваньку прибрал»,— думал Аноха. Оно так почти и получилось. Однажды Ивана Озорнина посадили на телегу и повезли куда-то на самый край крещеного света. Тогда это было не дивом. Надумает государь где-нибудь храм или



дворец соорудить, туда обязательно туляков притулит.

— Колесом дорога! — Люди всегда кричали вслед уезжающим мастерам, чтобы они снова вернулись назад. Но мастеровые не всегда возвращались домой.

Ради их золотых рук там мастеров насильно заставляли жениться или загоняли в долги, или находили какие-нибудь другие причины, чтобы они оставались на новом месте.

После уезда мастера Тычки у Катюши из рук стала валиться работа. Снова зажили неважно. Но Катюша на это не обращала внимания. А Аноха твердил ей:

— Замуж, замуж тебе скорее надо выходить, пока еще над тобой витает дух славы. И выйти надо обязательно за богатого.

Но Катюша об этом и слышать не хотела.

— Зачем мне богатство да немилая жизнь? — говорила она. — Клен да береза — чем не дрова? Хлеб да вода — чем не еда?

Однажды к Анохе пришел купец Чуженин, который раньше луки и стрелы покупал у деда Григория, деда Егория и других мастеров. Тайком об этом человеке говорили, что он с бесами дружбу водит и ему сам черт круглые сутки деньги чеканит. А на вид он был ласковый: голова с поклоном, язык с приговором, ноги с подходом, руки с подносом. И его чертячей душе очень по нраву пришлась Анохина Катюша. Ему даже понравилось, как у нее сгибаются кисти рук и пальцы, чтобы быстрее делать стрелы и считать деньги. Наобещав золотые горы, он и упросил Аноху отдать ее за него замуж. А Аноха, позарившись на богатство, сразу и поймался на золотой крючок. Катерина не раз видела этого человека у других мастеров. Только он тогда не хотел ее замечать — она была еще девчонкой. Этот купчик-голубчик был таков, что его копейка нищему ладонь прожигала.

Сколько Катюша своего батюшку ни просила не отда-

вать ее за нелюбимого человека, Аноха был неумолим. Ему хотелось, если уж не самому богатым быть, то, по крайней мере, хоть пожить рядом с богатым человеком. Перед тем, как Катюшу нарядить и увезти навсегда из родного города, она попросилась в последний раз выйти на берег речки Тулицы, где когда-то встречалась с самым веселым тульским озорником, с Иваном Озорниным. А в те времена Тулица еще была глубокая и сюда из дальних стран прилетало много лебедей. И вот, когда Катюша на глади воды увидела белую стаю, она, подобно крыльям, подняла руки к небу и воскликнула:

— Милые лебеди, белые подруги мои, не дайте в обиду меня. Возьмите на волю с собой.

И кинулась к ним. Стая лебедей поднялась в небо — и после того Катю-Катерину никто не видел на земле.

Когда мастер Тычка снова вернулся в Тулу и пришел на берег Тулицы на встречу с Катюшей, там о ней он услышал только эту легенду.

Великое дело чувствовать себя человеком. А это чувство рождается только от доброты. Недаром каждая мать стремится, чтобы ее ребенок был добрым.

Говорят, когда-то в нашем городе было принято так, что каждая молодая женщина обязательно своего ребенка приносила к веселому и доброму учителю тульских мастеров Тычке и спрашивала, чего надобно сделать, чтобы ее наследник был таковым. И Тычка с мужицкой простотой и мудростью всегда отвечал им:

— Особенно-то, пожалуй, ничего. Только его надо приучить к честности. Если он увидит хорошее, пусть говорит хорошо. Если плохое — плохо. Честность вашего наследника обязательно приведет к доброте.

Когда я в детстве услышал эту наивную, но по-своему красивую выдумку, дня три не отставал от матери, пытая ее, носила ли она меня на показ к мастеру Тычке, пока мать не молвила:

— Конечно, носила. Как же я могла тебя и не показать великому учителю?

— И что же он сказал?

— То же самое, что и говаривал всем. Правда, он сказал вот еще что: когда вырастешь и придешь на завод, какой бы у тебя сильный и мудрый учитель ни оказался, надо стараться стать выше его.

Хотя из нашей семьи никто и никогда не видел мастера Тычку, но он в нашем доме всегда был почитаем. При радости, горе и обидах повторяли его золотые слова. Я не заучивал их, они запоминались сами. Мне казалось, будто мастер Тычка все время жил среди нас. Когда я пришел на завод, то с первого же дня стал поступать так, как советовал он — о хорошем говорить хорошо, о плохом — плохо. Однако сразу почувствовал, что это не очень-то всем нравится. Оказывается, здесь зачастую и о плохом нужно говорить хорошо. А как только начал работать лучше своего мастера, он на меня стал коситься, боясь, что у него могу отбить кусок хлеба. Мне стало настолько обидно, что я и сам не заметил, как при первых же огорчениях заговорил словами-лезвиями мастера Тычки, когда его доводили до белого каления. Может быть, по юношеской беспечности я вскоре и забыл эти слова, но мне их напомнило начальство.

Однажды меня вызвали в контору и спросили:

— Ты говорил попу на исповеди, что та рука, которая крест кладет, она и нож точит?

— Говорил,— сказал я.

— Говорил своему мастеру, что, если не будет пахотника, то и не станет бархатника?

— Говорил.

— А знаешь ли ты, что за такие слова посылают туда, где даже Макар телят не пасет.

— Но эти же слова не мои,— сказал я,— а мастера Тычки, их каждый знает в нашем городе.

— Тем хуже, что повторяешь слова такого смутьяна, как Тычка.

— А вы его видели? — спросил я.

— Ничего, придет время — увидим. Мы и его посадим в свой карман.

Тут я уж не выдержал и грохнул своими словами:

— Слишком он великий Иван, чтобы его посадить в ваш маленький карман.

Начальство тоже не выдержало моих последних слов и, больше не говоря ни слова, тут же вытурило меня из завода.

Когда об этом узнала мать — чуть ли не лишилась ума. Она мечтала меня воспитать таким человеком, чтобы я по-русски был щедрым, открытым, честным и высказывался в миру только полезно заряженными мыслями. Да и говорил бы не по азбуке Морзе, которая нынче стала в моде, а по-русски ярко, раздумно и броско, как издревле повелось у нас, россиян. Ради этого она под предлогом речений легендарного остроумца мастера Тычки, выдуманного кем-то, незаметно заставила меня выучить все пословицы и поговорки, собранные за целую жизнь Владимиром Далем на нашей благословенной Руси, пока сам я не научусь думать.

И теперь сколько она ни доказывала заводскому начальству, что я ничего не говорил лишнего, кроме того, что было написано в книге Даля,— а в этой книге говорится, что поговорка не судима,— ее слушать никто не хотел.

Правда, матушку кто-то спросил:

— Может, слова о большом Иване и маленьком кармане тоже напечатаны в книге Даля?

— И эти слова напечатаны там,— сказала она.

А между тем, если раньше кузнецкие мужики проходили мимо меня, то теперь останавливались и подбадривающе похлопывали меня по плечам, а зарецкие мальчишки на наших воротах писали: «Мастер Тычка, крепись, мы все за тебя!».

Одна старуха принесла в узелке сухари и сказала:

— Если тебя сошлют далеко, вот тебе на дорогу. В дороге сухари еще никому не мешали.

И она не ошиблась. Буквально через день меня вызвали теперь уже не на завод, а в другое место, где вели более серьезные разговоры, и сказали:

— Ну что ж, наш новый и юный мастер Тычка, если тебя сочувствующие снабдили на дорогу сухарями, желаем тебе счастливого пути.

— То есть как? Какого пути? — сказал я.— Куда меня хотите отправить?

— Разве мы можем приказывать? — сказали мне.— Ты волен сам выбирать для себя место жительства в любом городе у сибирского тракта, но только как можно подальше отсюда.

И действительно, те сухари очень пригодились мне. Как только я захотел остановиться в первом городе на этом самом тракте, мне сказали:

— Чтобы жить в нашем городе, вам придется ответить на три вопроса. Вот вам первый: Вы жили рядом с Москвой и недалече от Питера. И обо всем наслышаны. Скажите, пожалуйста, если в России произойдет всеобщий бунт, или как теперь это называют революцией, что сделают с царем?

— Право, я никогда об этом не думал,— ответил я,— но свинью всегда опаливают с головой.

— Спасибо, больше вопросов не будет. Судя по первому ответу, вам надлежит ехать дальше.

— А куда? — спросил я.

— До края земли еще далеко.

И так в каждом городе: стоило мне ответить только на первый вопрос, меня, как испорченную деталь на заводском потоке, все отталкивали от себя как можно подальше. И наконец, дотолкали до такой грани, что я действительно оказался на краю земли,— в Порт-Артуре, откуда дальше было ехать некуда. Но и здесь кому-то не понравились мои слова, и последнее, что со мной сделали, взяли и сбросили в море, и я стал рядовым матросом на крейсере «Варяг».

Что со мной дальше будет, я пока не думал, но много дум передумал в пути и о заводской жизни и о тульских мастерах-казюках, которых когда-то привязали к своим огородам, как телят к яслям, и они до сих пор боятся от них оторваться. Работают, лишь бы работать. Только единицы из них стараются что-то сделать свое, от души и время от времени своим мастерством удивляют мир. А сколько горячих людей остывают от холодного внимания службистов, боявшихся, что другие могут занять их места. Да я и сам шел на завод с той мыслью, чтобы когда-то сотворить чудо. Но мне не дали не только сделать хоть маленькое, но доброе дело, но даже не дали сказать пару добрых слов. А как мои руки тянулись к сотворению чуда! Но, наверное, чтобы сотворить чудо, мало еще самому быть добрым, нужно еще чувствовать излучение доброты других людей. Тогда у человека появляется то великое чувство, с которым он может совершать самое невозможное, что иногда не под силу даже тысячам людей. В этом я убедился потом на крейсере «Варяг».

Когда я ступил на палубу этого крейсера, тогда им командовал капитан первого ранга Бэр. Жестокий человек.

На матросов всегда глядел змеиным взглядом. Его помощник — старший офицер корабля — тоже был хорош. Он, словно ворон, всегда жаждал крови.

Эти двое да еще кучка офицеров, которых называли «драконами», по любому поводу избивали матросов. Ведь змея не для сытости кусает, а ради лихости. И вот офицерам были потехи, а матросам худые смехи. Но некоторые офицеры с доброй душой относились к матросам. Один из них после революции даже командовал всеми военно-морскими силами молодой Советской республики. К таким офицерам Бэр относился прохладно.

Под злобные руки Бэра меня угораздило попасть в первую же неделю службы. Сейчас уж не помню, зачем, но по какой-то надобности мне пришлось пройти мимо него, а в это время он возле своих ног заметил спичку на палубе, оброненную, может быть, случайно им самим, потому что я тогда совсем не курил. Он обернулся ко мне и сказал:

— Матрос, подойди-ка сюда.

Не чувствуя за собой никакого греха, по всем правилам военного устава я подошел к нему. Бэр меня так жестоко избил, что я еле поднялся на ноги, но, поднявшись, спросил его:

— Вам никогда не приходилось слышать о великом тульском мудреце Тычке?

— О каком таком еще Тычке? — машинально спросил меня Бэр, хотя офицеры и брезговали отвечать матросам.

— О том самом, который никогда перед дураками не ломал шапки и всем говорил только правду. Так вот, если бы он увидел, как ни за что сейчас избили невинного человека, он бы сказал: «Не тот болен, кто лежит, а тот, кто над болью стоит».

Бэр от такой неожиданности даже побледнел и так сжал кулаки, что у него хрустнули суставы пальцев. Матросы, стоявшие вблизи нас, затаили дыхание, предчувствуя, что

после хруста его пальцев сейчас захрустят мои кости. Возможно, оно так и случилось бы, но Бэр, заметив еле уловимые улыбки офицеров, резко повернулся и ушел прочь.

За смелый ответ мастер Тычка тут же был зачислен в экипаж крейсера «Варяг». Матросам так понравились его слова, что через пару недель они сами стали от имени мастера Тычки выдавать офицерам свои слова, вплоть до командира Бэра, которые раньше боялись произносить даже в одиночку.

Командира корабля Бэра и офицеров-«драконов» матросы ненавидели лютой ненавистью. Они им мстили втайне всем, чем только могли. Где нужна была быстрота действия, матросы притворялись неповоротливыми дурачками. На артиллерийских стрельбищах старались ошибаться и стреляли мимо цели, особенно когда за стрельбищами наблюдали высокопоставленные чины.

Бэр с ума сходил от злости и еще более свирепее расправлялся с матросами. А те, негодующе глядя на командира и офицеров-«драконов», шептали: «Погодите, придет время и мы насмеём вам насмешки, припасем потешки».

Как-то однажды я матросам поведал превеселую историю о том, как мастер Тычка подменил одному царю царскую шапку на мужицкую, и когда тот стал входить в свой дворец, его избила своя же стража, чтобы он не совался со своим

суконным рылом в калашный ряд. Все очень смеялись, а один из матросов сказал:

— Вот бы что-нибудь подобное устроить нашему Бэру.

И на второй день произошел такой случай, который потом совсем изменил жизнь матросов и офицеров на крейсере «Варяг». А произошло вот что: при подъеме с воды на борт корабля вдруг сорвался катер. Не успели ахнуть, как он затонул. То ли это сделал тот самый матрос, то ли кто-то другой, доведенный «драконами» до отчаяния. Может быть, катер сорвался случайно. Но Бэр счел это злым умыслом и тут же о случившемся доложил командующему эскадрой. Тот очень возмутился и немедленно прибыл на «Варяг». Когда команду построили на палубе и разгневанный адмирал приказал виновным в потоплении катера выйти на шаг вперед, к удивлению офицеров, вся команда шагнула вперед. Адмирал настолько перепугался, что сейчас же поспешил покинуть корабль и срочно об этом доложил в Петроград. И оттуда пришел приказ: освободить Бэра от командования «Варягом», якобы по болезни, и этим же приказом он зачислялся с повышением должности в царскую свиту.

— Вот тебе и на! — говорили матросы.— Выходит, что он выслужился на нашей шкуре.

«Драконы», немного присмирев, стали ждать нового командира, надеясь, что пришлют такого же «хорошего» человека, как Бэр. Но командующий на этот раз не рискнул сюда послать «хорошего», опасаясь бунта. Он оказал честь командовать «Варягом» неугодному ему человеку, которого давно хотел сплавить подальше от себя за то, что его слишком подозрительно любили нижние чины. Этим человеком был сын нашей тульской земли капитан первого ранга Руднев, который по примеру мастера Тычки мог высказывать самые неприятнейшие слова даже командующему эскадрой. И вот теперь командующему выдался такой

случай, чтобы Руднева бросить прямо в зубы бунтовщикам. А командующий был самолюбив, и у него был такой толк: что чуть сер, то обязательно волк. И Руднева он послал не просто-напросто командовать «Варягом», а еще там найти зачинщиков бунта. «Из-за этих негодяев мы лишились такого милейшего человека, как Бэр»,— с сожалением говорил командующий. И как бы жалея Руднева, он советовал ему беречь себя и действовать осторожно, ибо малейшая неосторожность может привести к взрыву и зажечь другие корабли. «Теперь «Варяг» что бочка с порохом в нашей эскадре»,— сетовал командующий.

И сразу же после прихода на «Варяг» что сделал капитан Руднев — запретил рукоприкладство и офицерам дал совет относиться к матросам с уважением, ибо матросы являются такой же живой частью корабля, как и они. Многие офицеры слова нового командира приняли за шутку, но когда он за неподчинение его приказу списал с позором на берег своего помощника — старшего офицера корабля,— то этому немало удивились не только офицеры крейсера «Варяг», но и командование эскадрой. Битье матросов командование не считало большим грехом, но восстановить на прежнее место старшего офицера командование не могло: он формально не выполнил приказ своего командира.

Вроде бы капитан Руднев на корабле сделал не так уж много, а матросы сразу почувствовали себя людьми, и жизнь на корабле пошла по-другому. Матросы всюду стали поспевать, и пушки у них начали точно стрелять.

Что ж, говорят, хорошая нива и сеятелю в диво. Но это еще не было чудом. Чудо произошло чуть позже, когда «варяжские бунтари», оказавшись в корейском порту Чемульпо осажденными враждебными японскими кораблями, на своем крейсере вышли в бой с целой эскадрой и о себе заставили заговорить весь мир. И так заговорить, что даже

в Петрограде вынужден был их принять с почетом сам царь.

Однако варяжцев недолго баловали славой, боясь, как бы они не сделали второй шаг: их разбросали по разным кораблям и, конечно, всех держали под слежкой, потому как они уже свои мысли стали высказывать офицерам, не ссылаясь на мастера Тычку. Но второй шаг все-таки сделали. И сделали на броненосце «Потемкин», где тоже были матросы «Варяга». А третий и решительный — на крейсере «Аврора».

А как могло быть иначе? Человеку можно закрыть рот, но что сделаешь с его душой?.. А в душе каждого россиянина живет веселая удаль тульского мастера Тычки. Потому-то, наверное, после залпа «Авроры» Россия так далеко и шагнула вперед, чувствуя свою добрую силу.

Мне кажется, что всякая мечта приходит только через удивление. И она тогда может воскресить даже безнадежного человека. По этому поводу мне хочется и рассказать вам одну легенду.

В лесу умирал солдат. Лежал он на мокрой траве и думал:

«Эх, поговорить бы с кем напоследок...»

— А что бы ты хотел сказать? — вдруг услышал он чей-то шепот.

— Я хотел рассказать, какие муки-пытки я перенес на войне ради покоя своих детей. И хотел, чтобы кто-то после указал им место моей кончины.

— И только-то? А мы никогда не думаем о смерти, и если она приходит, то мы своим детям даже не подаем вида, оставаясь долго стоять рядом с ними.

Солдат открыл глаза и огляделся. Кругом не было ни души.

— А кто же вы? — спросил он.

— Мы — обыкновенные деревья.

— Ах, деревья,— разочарованно произнес солдат.— Но вы живете совсем иной жизнью... Разве вам приходится испытывать те невзгоды, которые выпадают на нашу долю?

— Говоришь, иной? — прошептали деревья.— А разве нас не так же терзают зимние бури? Или земля щадит в засушливые годы? Может, войны проходят мимо нас? Посмотри, солдат, на наши опаленные и покореженные ветви, и ты убедишься, что нам выпадают испытания не меньше, чем людям. Некоторые из нас в своем сердце держат не только осколки фашистских снарядов, а даже обломки стрел татарских орд. А все равно стараются держаться прямо.

— Но вы так приспособлены к жизни, что вас долго могут держать корни,— опять проговорил солдат.

— А только ли корни? — прошептали деревья.

И тут сразу зашумел лес, и в этом шуме солдат услышал великий гимн, прославляющий солнце и землю.

Заслышав этот гимн, сразу начали подниматься увядшие травы, по которым только что тяжкими гусеницами прокатилась война. На пашнях выглянула свежая зелень, как выглядывает из дома любопытная детвора, когда по улицам проходят праздничные хороводы, хотя где-то тело России еще полосовали траншеями чужие солдаты. Такова уж наша Русь: не успеет слезы вытереть, а уже улыбается.

Солдат приподнял голову и с изумлением стал глядеть на деревья. Они теперь ему казались живыми и близкими людьми. Вот стоят вдовушки-осины, его сестры, обездоленные войной, а вот склонилась над прудом ива Аленушка — девушка его первой и вечной любви. Когда солдат посмотрел на березы, чуть не воскликнул: «Дочери мои!..»

А лес все пел, торжественно и спокойно, как поют

слагатели былин перед тем, как проводить усталых воинов в новый поход.

Солдат лежал у векового дуба и думал: «А слышат ли люди? А слышат ли люди эту песню?» Потом и сам не заметил, как встал и пошел навстречу гулу войны.

Прошло много лет. Однажды на баянную фабрику явился старый мастер, которого давно считали погибшим на войне. Пришел он и начал проситься, чтобы его приняли работать на прежнее место. Посмотрели на него люди, а у мастера вместо пальцев — одни обрубки. Но это еще не вся беда, самое главное — он ничего не слышал. Мог ли глухой настраивать баяны? Он же хотел от начала до конца их делать сам. Как сказать старому мастеру, имя которого знали по всей России, что он уже не может работать? Думали, думали люди и решили: «Пусть останется в цехе, добра он немного попортит, но зато убедится сам, что работать больше не может». Так с ним и поступили.

И вот уже сидит наш мастер на своем прежнем месте и собирает баян. Никто к нему не подходит, никто его не тревожит. Хотя заказчиков на фабрике всегда хоть отбавляй, каждый хочет, чтобы ему баян делал именитый мастер.

Но вот однажды в Тулу приехал из Москвы известный баянист. Увидев в цехе старого мастера, баянист воскликнул:

— Да это никак старый волшебник Стрельцов!

— Да,— сказали ему,— но он...

— Никаких но... Тот баян, который стоит перед ним, будет мой!

— Только доведет ли он его до ума?

— Доведет!

Баянист был упрямый, сказал свое слово и уехал.

Прошло какое-то время, и мастер Стрельцов наконец-то принес сдавать свой баян. Попробовали баян — не гово-

рит он как надо. А баянист из Москвы забросал фабрику письмами: «Когда будет готов мой баян?» Что отвечать ему? И люди никак не осмелятся объяснить промашку самому Стрельцову. Однако кое-как набрались духу и объяснили, что не запел его баян, и теперь не знают, что ответить заказчику.

— Ничего, придет время — запоет,— ответил Стрельцов.— Отсылайте!

Ну как можно не поверить мастеру? Иной раз он может сказать и несуразное, да из того потом получается диво. Послали баян. Через некоторое время из Москвы приходит телеграмма: «Баян молчит». Показали телеграмму Стрельцову, а он от удивления даже брови вверх вскинул: «Этого не может быть!» Тут же собрался и покатил в Москву.

Разыскал квартиру баяниста и сразу с вопросом к его жене:

— Где хозяин?

Она объяснила, как сумела, что муж ушел на концерт. Смотрит Стрельцов, а его баян валяется на диване. Схватил его — и за баянистом. Приходит в концертный зал и опять же: «Где такой-то?» «Он только что направился на сцену». Мастер нагнал своего заказчика уже в тот момент, когда конферансье объявил о его выступлении.

— Почему ты выходишь к народу без моего баяна? — спросил Стрельцов.

— Но он же не играет,— и баянист руками показал, что у него ничего не клеится.

— Что-о? — закричал мастер.

Но баянисту некогда было заниматься объяснениями: номер объявлен! Он вежливо отстранил Стрельцова и вышел на сцену.

Чуть только смолкли аплодисменты, баянист услышал рядом с собой, у рампы, голос Стрельцова:

— Шепот русского леса!

И мастер стал растягивать мехи своего баяна. Публика сначала ничего не могла понять, а потом, когда люди прислушались, им показалось, что над ними шелестит лес и не только шелестит, а поет неслыханную песню о русской земле, песню, которую каждый носил в своем сердце. Все тогда замерли и, как на чудо, стали смотреть на мастера с диковинным баяном.

Лес над ними продолжал петь торжественно и спокойно, как поют слагатели былин перед тем, как проводить воинов в новый поход.

Как только Стрельцов кончил играть, баянист выхватил у него баян и попытался сыграть другую мелодию. Но из этого ничего не получилось. И тогда он понял, что тульский мастер сделал этот баян только для одной песни.

Чуден мир, и дивны в нем люди. Но даже среди самых дивных людей плохо жить без добрых забот, лихо без доброго слова и очень худо без добрых волнений за свое мастерство.

Я человек очень скромный. По профессии — гармонный мастер. Сам о себе говорить не охоч, о своем же ремесле послушать не прочь. Ради этого я иной раз забредаю в глухие деревушки и жду до самого вечера, пока за околицей не заиграет гармонь. Или как говорят: «Пока не запоет твоя вторая душа». Пусть даже это будет и не моя гармонь, а совсем другого мастера. Мне все равно. Это доставляет большую радость. А в особенности, если какая-нибудь баба скажет:

— Кума, слышь? Опять в нашей деревне появилась эта шальная гармонь. Снова, каналья, от какой-то матери хочет увести сына. Вот, уже чья-то девка плачется по своему кавалеру.

И правда, в глубокой деревенской тишине, будто жалуясь звездам, тоненьким голосом выводит какая-то девушка:

Завивались мои кудри
С осени до осени.
А почуяли разлуку,
Завиваться бросили.

Сложив на коленях отяжелевшие руки, сидят на завалинке женщины и слушают эту песню, тихо переговариваясь друг с другом. У каждой в руках еще висит дневная работа — и они даже не шевелят ими.

Пожилые женщины слушают песню с горестью, а молодые думают: «Эх, скорее бы выросли наши сыновья, чтобы по ним вот так же убивались девки».

Какой матери не хочется скорее вырастить сына, а когда он становится взрослым, то жаль его отпускать от себя.

В это время каждая мать старается чем-то задобрить его. Сама недоедает, но сыну обязательно сбережет деньжонок для модной рубашки или для нового костюма.

Пойдет на базар покупать корыто, а глаза у нее бегают совсем по другим прилавкам. «Может, для сына подвернется что-нибудь такое, от чего в его глазах загорится детская радость». Но попробуй-ка выбери сразу... Нынче дети пошли такие — их ничем удивить нельзя. Принеси им двухступенчатую ракету — они скажут: «Тут не хватает третьей». А бабе все равно чего-то купить охота. Видит, какой-то мужик носит гармонь.

— Продаешь, что ли? — спрашивает она.

— Покупай, тетка,— весело говорит мужик,— гармонь тульская, двухрядная, самая нарядная. С душой звонкой, с мелодией тонкой. Век бы сам играл да слухал, но в детстве слон наступил на ухо.

Какая была душа у гармони, женщина не видела, а вот цветы, не первой свежести на мехах, она заметила:

— Бери, тетка, если хочешь в доме иметь веселье,— настаивает мужик.

— Так-то, может, так, да очень уж на вид неказиста,— отвечает она.

Мужик как будто и ждал этих слов.

— Неказиста — зато голосиста,— отчеканил он и сразу растянул мехи так, будто хотел гармонь разорвать пополам.

И действительно, когда заиграл, гармонь старалась перекричать весь базар. И где-то в стороне запели под нее девки.

Я иду, а по дороге —
Веточка цикория.
Я влюбилась, он влюбился —
Вот и вся история.

А с другой стороны базара донеслось:

Неужели перельется,
Неужели выльется,
Неужели переменится
Моя фамильица?

Тут баба позабыла про свое корыто, выложила мужику деньги и поспешила домой. Когда уже села в машину, спохватилась: «Нужна ли сыну гармонь?» Так всегда бывает с нашими деревенскими матерями. Купит она для дочери платье, потом всю дорогу трясется в машине и думает: «В мерку или не в мерку взяла для Маньки платье?» Но хорошо, что у них в запасе есть слово «ничего». Оно всегда успокаивает. Если платье окажется узким, она скажет: «Ничего, зато не выскочишь». А если широкое — опять же скажет: «Ничего, лишь бы не было узким».

Вот и эта баба сидит в автобусе и охает:

— Кстати или некстати взяла сыну гармонь?

— Почему некстати,— отвечали ей,— может, эта гармонь зазовет еще добрую невесту.

А ей как раз того и нужно. И правда, только она привезла гармонь, сын в первый же вечер взял ее и запел:

Милая, милёная,
Юбочка зеленая,
Расскажи, милёная,
В кого ты влюбленная?

А соседская девчонка как бы в ответ:

Милый Коля, ваши кони
У колодца воду пьют.
Милый Коля, ваши глазки
Мне покоя не дают.

А мать слушает и говорит себе: «Спасибо тому человеку, который ее сделал».

А сделал ее тульский мужик и вложил в нее все свои мечты и беспокойства.

— Дядь Вась!

— А?

— Почему так?

— Как?

— Сколько лет вы уже работаете мастером, а называете все еще себя учеником?

— Документ мастера получить куда проще, чем сказать своей совести, что ты уже мастер.

Был у нас на заводе один человек, который никак не мог дождаться, пока его признают мастером. Ходил он по начальству и жаловался на старых мастеров, что они его считают учеником, хотя он давно имеет документ мастера. Тыкал им всем в нос бумажкой, но радости своей работой никому не приносил. А в Туле, кроме диплома, привыкли еще смотреть на искусные руки и руки считать главным документом.

Этому человеку стало казаться, что его окружают злые люди, из-за которых он никогда не выйдет в мастера. Решил уйти из завода. И ушел бы, если бы Тычка за ним не заметил одну диковинку.

Сидел он днем за граверным верстаком, а вечером, после работы, переходил к столярному. Зачем?

Однажды открыл его рабочий ящик и вытащил оттуда красивую деревянную шкатулку. Она была так отполирована хорошо, что в нее можно было смотреться.

— Неужели это твоя работа? — спросил Тычка.

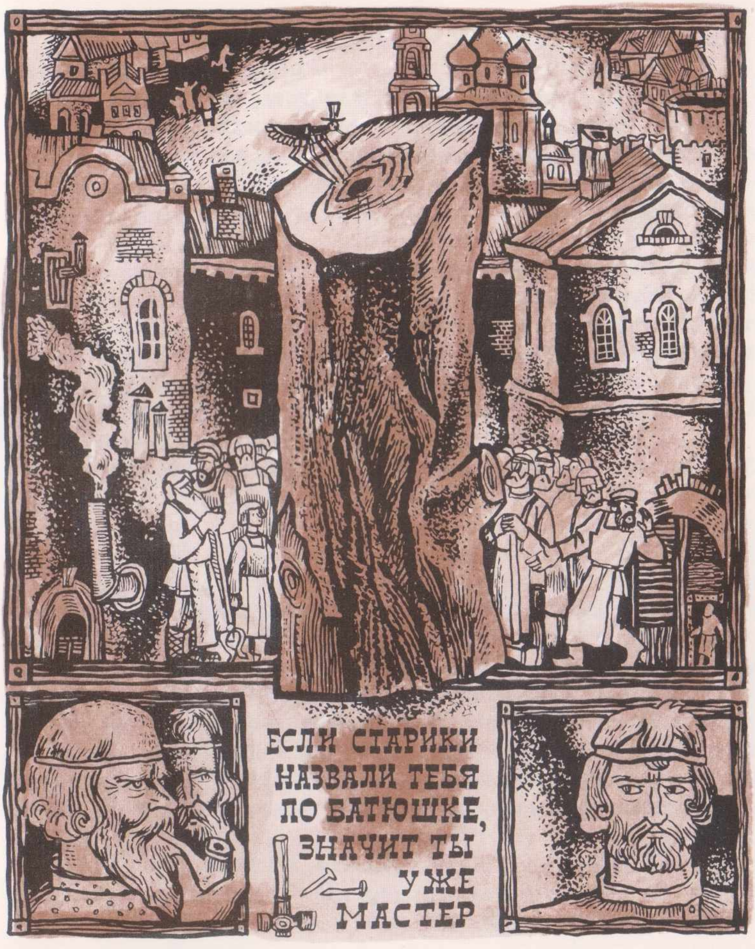
— А что ты думал,— ответил он.

Тычка подвел к нему стариков.

Старики повертели в руках шкатулку и недоверчиво покачали головами. Мол, мели Емеля.



Тогда он взял обыкновенное полено


ЕСЛИ СТАРИКИ
НАЗВАЛИ ТЕБЯ
ПО БАТЮШКЕ,
ЗНАЧИТ ТЫ
УЖЕ
МАСТЕР

и на глазах у мастеров так отшлифовал, что после этого посадили на него подкованную блоху, та корячилась, корячилась, а вспрыгнуть никак не могла.

Старики пожали ему руку и в первый раз назвали его по имени и отчеству. А в Туле говорят: «Если старики назвали тебя по батюшке, зачем тогда и генеральское звание. Значит, ты уже мастер».

Однажды Тычку встретил на улице старый рабочий.

— Слушай, дорогой,— сказал он,— тебя хоть не любит начальство и гоняет из одного завода в другой, но о тебе все время в цехах идет хорошая молва, а мне стоило только уйти из завода, все почему-то сразу забыли.

— А много ли там оставил учеников? — спросил Тычка.

— Никого.

— Если в печь не подкладывать дрова, то откуда быть огню?

У Тычки учился мужичок-чудачок, с косинкой-хитринкой на левый глаз. Он и молоток держал в левой руке. На заводе его так и прозвали Левшой. У Левши вид был настолько неказистый, что все думали, он и мастеровым будет неказистым. Да и Тычка учил его делать только гвозди.

— Сколько лет возле твоего фартука трется твой косой ученик? — с ухмылкой спрашивали Тычку другие мастера.

— Осьмой год скоро пойдет,— отвечал им Тычка.

— И для чего ты его держишь еще на гвоздях? Мы своих учеников давно научили кормить свои семьи.

— И только? — говорил Тычка. — А я хочу, чтобы он своими гвоздями сотворил чудо.

И Левша ими подковал блоху.

Тычка тоже не всех жаловал добрым словом. Как-то одному из его учеников дали делать гравюру — Севастопольскую битву. И тот на фоне баталии нарисовал крест, а под крестом убитых русских солдат. Когда на гравюру посмотрел заказчик, а заказчиком был один из высокопоставленных чиновников царского двора, то сердито сказал:

— Как ты посмел здесь нарисовать наших убитых солдат! В Сибирь захотел?!

Ученик, испугавшись, прибежал к Тычке, пересказал слова заказчика и робко проговорил:

— Мастер, я недавно женился и у меня есть ребенок. Пожалейте, не дайте погибнуть ему. Придумайте что-нибудь.

— Хорошо, — сказал Тычка.

И через неделю принес заказчику гравюру, где вместо убитых солдат валялось дуло разбитой пушки, а возле него красовалась большая лужа крови.

— Ну вот, — сказал заказчик, — без убитых и гравюра лучше смотрится. Похвали своего ученика.

Тычка сказал ученику:

— Хорошим мог бы стать мастером, но нет в тебе смелости. А художник без смелости — не художник. Иди-ка лучше делать замки, пока люди не научились жить без замков.

Не в пример другим сам мастер Тычка был очень смелым. Говорят, когда чиновник из царского двора узнал, что эту гравюру нарисовал не ученик, а сам мастер Тычка, то он спросил его:

— А не мог бы ты нашего государя нарисовать не иглой на медной планке, а на полотне масляной краской?

— Нет,— сказал Тычка.

— И почему?

— Потому что его надо рисовать грязью и кровью, а у меня в палитре такой краски нет.

— Дедушка-прадедушка,— спросил Тычку самый младший ученик,— почему все страшатся делать ошибки?

— Потому что, если старик совершит ошибку, говорят, что он выжил из ума; если то же сделает молодой, говорят, что он еще не нажил ума. А всем хочется быть умными.

Смешным в глазах людей можно сделаться очень легко. У нас на заводе одному молодому конструктору дали спроектировать компрессорную установку — для подачи воздуха.

Спроектировал он ее, и рабочие собрали. Когда пустили установку в ход, один человек заметил:

— Вы, кажется, позабыли установить предохранительную сетку на трубу.

— Это мелочь,— сказал молодой конструктор,— сетка не колесо и не винт, установка и без нее будет работать.

Но однако дней через восемь компрессор вдруг перестал качать воздух. В чем дело? Работало все нормально, а компрессор все-таки не подавал воздух. Когда начали разбирать установку, вдруг из трубы выпала дохлая ворона, а за ней посыпались воробьи. Полпуда разной дичи вывалилось оттуда. Откуда она взялась там? Оказалось, птицы любят садиться на самые высокие места — деревья и трубы. Но когда они подлетали к компрессорной трубе, тут их сразу — фук! — и затягивало потоком воздуха вовнутрь трубы.

И так за неделю труба наловила больше полпуда дичи. Когда рабочие стали из цеха выносить птиц, им встретился конструктор.

— Зачем вы поубивали бедных птиц? — сказал он.

— Это не мы, — ответили рабочие, — а ваша мелочь.

Один молодой гравер спросил по секрету Тычку:

— Почему получается так? Когда вечером показываю свои рисунки, они больше нравятся друзьям, а днем никто не хочет смотреть на них.

— В темноте всякая женщина кажется красивой, — по секрету ответил ему Тычка.

Если верить тем приметам, в которые верили в старые времена, я должен быть самым счастливым человеком. Ибо родился я в самый погожий день, в пору Ирины рассадницы, когда на покосных лугах худую траву выжигали, на огородах рассаду рассаживали, приговаривая: «Не будь голенаста, будь пузаста; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна...» Кто в пору таких приго-

воров появлялся на свет, считали, что он будет умным. И правда, свой ум я почувствовал сразу. Как помню сейчас, открыл я впервые глаза, смотрю — кругом светло-светло. И стоят, склонившись надо мной, беленькие старушки. Одна из них, глядючи на меня, байковым голосочком сказала:

— Вот и новый мальчуган-фулюган появился на свет.

«Хорошо, что не девочка,— подумал я,— а то бы выдали замуж за какого-то дурака, потом и мучайся всю жизнь».

Как только я начал по земле петлюшечки петлять, меня сразу же под свою высокую руку взяла бабушка, от которой узнал, что я не какой-нибудь иной, немазаный, кривой, а по локоть в золоте, по пояс в серебре, во лбу ясный месяц светится, а на затылке — часты звезды. Каждое мое слово — сахарное и медом помазано. Как же можно было не поверить таким словам! Я поверил ей сразу. Когда же я стал голенастым, то не кто иной из нашей семьи, как я, единственный из двенадцати братьев, принес весть своим родителям о том, что наша земля не только днем, а даже ночью вертится. Ну тут же, конечно, Ванюшечке-душечке — сладкий пирожок.

Говорят, счастливый человек может без ветра и крыльев на небо взлететь и мозолей не натереть. И поистине, у меня получилось почти что так. Только я успел на заводе овладеть мастерством, как заболел один человек, и вместо него, минуя рабочий верстак, я сразу стал заместителем заместителя одного небольшого, но очень важного начальника. Хотя назначили всего лишь на два с половиной месяца, но мои начальники настолько были заняты, что и не заметили, как я на этой должности проработал почти шесть лет. Уж начал забывать, что я должен работать у верстака, но тут на меня обрушилась беда. Она свалилась будто с бровей.

Приходит ко мне однажды мужик, чтобы подписать какие-то товарные бумаги, и говорит:

— Тебе не надоело сидеть не на своем месте?

— Почему? — сказал я.

— Да здесь должен работать крылатый человек.

Мне показались его слова слишком дерзкими, и я ответил:

— Не знаю, кто должен сидеть на этом месте, но мне тут работать хорошо и уютно.

— Уютно? — сказал он.— А ты не боишься, что с тобой может случиться такая же история, как с одной наивной уточкой?

— С какой уточкой? — спросил я.

— А вот такой,— сказал он,— которой надоело слушать наставления своей матушки, чтобы она крепила крылья для больших полетов в большое небо. Однажды уточка не выдержала беспрестанных наставлений матери и решила утопиться в озере. Но как только она оказалась на глади воды, воскликнула:

— Мама, посмотри-ка, а я уже на небе и подо мной плывут облака.

Сколько мать ей ни доказывала, что это не настоящее небо, уточка поверить не могла. На этом небе ей было тепло, сыро и уютно. И даже когда ее сверстницы осенью поднялись ввысь, она осталась сидеть в полынье, пока ее не заставила взлететь голодная лиса. Но куда она могла полететь без стаи!

Меня удивил этот человек своим каким-то немягким разговором с начальством. Я вышел из кабинета и спросил старую секретаршу:

— Кто это был?

— Да это же мастер Тычка,— сказала мне секретарша.

Я обрадовался, что такой мастер работает под моей рукой. А поделиться своей радостью мне было не с кем:

начальству неудобно иметь друзей. Но как-то зашел ко мне однокашник по учебе и я ему сказал:

— А знаешь ли ты, что под моей рукой работает сам мастер Тычка?

— Знаю,— сказал он.

Я очень обрадовался.

— Ну, как поживаешь? — спросил я для приличия своего однокашника.

— Хорошо,— сказал он.

— И что ты поделываешь?

— Да вот только закончил высшее техническое училище.

— И где ты сейчас?

— На прежнем рабочем месте.

Я посмеялся над ним в душе и похвалил себя, что не потратил зря времени и сейчас нахожусь выше его. Однако сочувствующе спросил бывшего приятеля:

— А никуда не хотят тебя выдвинуть?

— Да вот по совету мастера Тычки выдвинули.

— Куда?

— Вместо тебя.

— А куда же я?

— На мое место.

— Но я уже позабыл свое ремесло.

— Да вот,— сказал мой приятель,— мастеру Тычке и хотелось, чтобы ты увидел настоящее небо.

Как-то юноша подходит к Тычке и говорит:

— Мастер, я прошел обучение у всех знаменитых мастеров Тулы и даже учился у вас, но говорят, что рисунки на моих гравюрах выглядят мертвыми.

— Значит, ты еще не обучался у самого главного мастера.
— А как его звать?
— Жизнь.

Мне не пришлось набираться мудрости у великого мастера. Я учился у своего отца. Бывало, он скажет:
— Гаврюха, ты делаешь не так жа.
— А как жа?
— А все так жа.
И вот, когда я слушал такие советы отца, у меня всегда хорошо получалось.

Я тоже не учился у мастера Тычки и никогда не видел его. Я полагаю, такого мастера не было и нет. Тычка — не что иное, как плод фантазии тульских мастеров — личность, хитро и умело нарисованная воображением людей многих поколений, начиная со времен Петра I. Но с детских лет мы так сроднились с легендами о веселом и остроумном мастере Тычке, с торжеством переходящего из века в век, что он нам стал казаться живым. Многие даже в зрелом возрасте не перестают утверждать, что они учились у самого настоящего Тычки, хотя и учились у разных людей и их мастеров звали Макарами, За-



харами и прочими именами. Дело в том, что в Туле всех знатных умельцев-виртуозов за глаза называли Тычками. Вот почему у легендарного мастера всегда было много учеников, которые, говорят, в отличие от других на обеих руках носили кольца с изображением молотка и наковальни в знак того, что они могут одной рукой блоху на цепь приковать, а другой — ее даже подковами подковать. Особенно кольцами гордились молодые, коим нечасто выпадала такая честь. Теперь уж никто не носит колец. В наше время трудно удивить людей подкованной блохой или ковром-самолетом. Ныне делают вещи куда мудренее. Но дух мастера Тычки продолжает витать и сейчас. Мы и сами не замечаем, как повторяем его золотые слова, бьющие не в бровь, а в глаз, на манер его притчей с ладошку создаем новые легенды, приписывая их слова вечно живущему мастеру.

Мне пришлось быть свидетелем одной печальной истории, которая послужила поводом для рождения очень горькой и вместе с тем смешной легенды о моем приятеле. Но сначала несколько слов об этой истории.

Если в былые времена кого-то в двадцать пять лет называли учеником великого мастера, то он считал себя самым счастливым человеком на свете. Мой же приятель имел честь быть названым таковым, когда еще стоял за ученическим верстаком. Хотя он, как и я, не признавал всякие сказки о мастере Тычке, не понимая еще, для чего он был выдуман. Да и до меня это дошло лишь после того, как я услышал легенду, связанную с великим шутником.

Мой приятель, казалось бы, родился под самой счастливой звездой. Он прекрасно учился и начинал делать такие вещи, которые были по плечу самым опытным мастерам. «А если и дальше у него так пойдет дело, говорили о нем, он может позади себя оставить всех знатнейших». Да и вел его старейший умелец нашего города. Завод

возлагал на него большие надежды. Ему прочили место руководителя работ, где требовалось самое тонкое мастерство. Но когда моему приятелю настало время самому торить себе дорожку, он вдруг оказался беспомощным. Все были удивлены, что же с ним случилось. Вроде бы хорошо учился, прекрасно освоил технику своего ремесла... А с ним ничего не случилось: мой приятель всего-навсего боялся самостоятельно мыслить. С малых лет привык жить на подсказках и только лишь прилежно исполнять их. Что с ним делать? Решили перевести его из участка больших знатоков на самое обыкновенное рабочее место, где не требовалось особой ответственности. Сказали ему: «Поработай временно здесь, пока не отвыкнешь от ученической робости». Но оказалось, он и ученическую робость боялся преодолеть. И все же ему бы здесь помогли преодолеть себя, однако его жене показалось, что у нас, хотя и дворно, да не совсем просторно. Оторвала приятеля от завода и по знакомству пристроила в какое-то ведомство, где его профессия совсем была не нужна. А он ослушаться жену не посмел. Говорят: без имени корова — это только мясо, так и рабочий без профессии — никто. И стал мой приятель служить в том ведомстве как закладка для книги. Вроде бы по страницам продвигался вперед, а оставался прежней картонной закладкой. Со временем поняв это, он был бы не прочь вернуться опять на завод, да не мог набраться смелости оставить эту службу.

Однажды его неудержимо потянуло обратно. Хотя он и не верил в существование Тычки, но от других людей слышал, что мастер Тычка через каждые пять лет собирает своих учеников, чтобы посмотреть на них, поговорить о жизни, о работе, потом их выстроить в ряд и каждому дать совет, что надобно до следующей встречи запомнить. Мой приятель подумал: «А может, и правда существует настоящий мастер Тычка?» Незаметно от жены выскользнул

из дома и побежал к тому месту, где Тычка должен собирать своих учеников. Когда прибежал туда, смотрит, и правда — мастеровые стоят в ряд и перед ними расхаживает мастер Тычка. А так как мой приятель был ростом выше всех, он встал первым. Но мастер Тычка прошел мимо него и стал советы давать другим. Приятель мой не вытерпел и спросил Тычку:

— Мастер, а что мне надо запомнить?

Только собрался он ему рассказать о своей нескладной судьбе, надеясь его разжалобить, мастер Тычка обернулся к нему и сказал:

— Запомни: безвольный человек похож на измятую шляпу и может даже стать беззащитной лошадью.

Мой приятель думал, думал и не мог понять, по какой такой причине мастер Тычка эти слова сказал именно ему. Но насторожился. Если он раньше без всяких раздумий слушался жену, начальство и всех, кого боялся, теперь стал опасаться. А вдруг... Ему ужасно захотелось увидеть безвольного человека, чтобы посмотреть, как он выглядит и что представляет из себя.

Но безвольные люди на груди табличек не носят, как их можно распознать?

Шло время. Мой приятель постепенно стал убеждаться, что таких людей вообще нет. Но побаиваясь предупреждающих слов мастера Тычки, он по-прежнему ко всяким просьбам и приказам продолжал относиться с опаской. Когда его жена стала просить, чтобы он купил автомашину, приятель сделал вид, что ее не слышит. Так он отмалчивался, пока в магазинах продавали согнутые, вогнутые машины, а когда жигулевский завод стал выпускать автомашины, похожие на пьедестал почета для спортсменов, сделал вид, что забыл слова мастера Тычки и уступил просьбам жены. А эти машины оказались своенравные, как лошади самарских ямщиков, которые, говаривают, бывало,

идут, идут, а потом раз — и остановятся у первого попавшегося трактира! И гадай, зачем они остановились тут. На этот раз произошло почти то же самое. Только мой приятель успел отъехать от автомобильного магазина, у первого же попавшегося кафе его машина затряслась: «Тыр-тыр-тыр» — и стала как вкопанная. Мой приятель — туда-сюда, начал копаться в моторе и не может понять, что произошло. Копался, копался и вдруг позади себя услышал голос:

— Продуй свечи.

Приятель оглянулся — вокруг никого не было. Только рядом стояла деревенская лошадь, запряженная в деревенскую телегу.

«Может быть, послышалось?» — подумал он.

Как только снова стал копаться в моторе, опять послышался тот же голос:

— Свечи продуй, говорю.

Мой приятель опять повернул голову... Батюшки! И не поверил своим глазам. Это, оказывается, с ним говорила лошадь.

— А ты откуда знаешь? — спросил приятель.

— А я когда-то закончила воронежский университет.

— Не может быть!

Тут из кафе вышел хозяин лошади. Мой приятель сказал ему:

— А у тебя умная лошадь.

— Небось, она сказала, что когда-то закончила воронежский университет? — проговорил тот.— Я сейчас ей покажу. Но!

И так страшно взвизгнул кнутом, что мой приятель от испуга заскочил в машину, нажал на первую попавшуюся педаль и помчался с такой скоростью, с какой еще не летали современные самолеты. Милиционер, стоявший на углу бывшей Миллионной улицы, решил: «Наверно,

в Туле вместо троллейбусов уже пустили ракеты»,— и с горестью подумал: «Как же теперь нам будет трудно следить за их номерами».

Когда мой приятель вошел в квартиру, чтобы жене бросить ключ от машины и сказать: «Да провались ты со своей машиной», к его удивлению, он вместо ключа вытащил из кармана четыре свечи от мотора. Как без свечей он мог добраться домой, мой приятель понять не мог. Тут он рухнул на пол и сказал: «Теперь я видел, как выглядит безвольный человек». И больше не поднялся.

Никто не мог понять, отчего он умер. Вроде бы он всегда был бодрым и волевым человеком и в молодые годы достиг большой должности... О причине его смерти знала только лошадь, на которой его и свезли на кладбище.

Ныне народ больно уж смешлив стал: и соврать не дадут. Ну что ж, ежели так, тогда будем говорить только правду.

Как вам известно, мастер Тычка никогда не ошибался и зря не тратил время. Но однажды он допустил такую оплошность, из-за которой ему пришлось из своей вечной жизни выкинуть целых восемь лет.

Мастер Тычка всегда любил говорить крупно и красиво. Слово сказал, потом на нем хоть терем ставь. На работе, вместо целого ряда болтов, одной заклепкой обходился. А вместо длинных речей, которые обычно произносят перед народом,— одним словом.

Когда великий мастер дожил до начала двадцатого века, в здании казенной палаты нашего города, которое от многих лет стояния уже стало уходить в землю, собрали двадцать самых лучших докторов и кандидатов еслинужных наук и решили мастеру Тычке сделать экзамен: правда

ли он в речах так краток и умен, как о нем гласят легенды? Дали ему четвертушку бумаги и приказали на ней написать свою биографию от времен Петра I до начала нового века. К удивлению всех, мастер Тычка все это накатал за две минуты и двадцать пять с половиной секунд, а когда прочитали ее до конца, то на это ушло более половины часа.

— Хотя вы свою историю написали очень быстро,— сказали доктора и кандидаты еслинужных наук,— но... Но по сравнению с той славой, которая о вас идет, получилось слишком длинно. А посему — не надобно ли задуматься, стоит ли вам после этого вечно жить.

— Вы не заметили, но, чтобы сберечь вам дорогое время,— сказал мастер Тычка,— я написал биографию в двадцати экземплярах.

Те не поверили и пошли совещаться в другую комнату. Тычка ждал, ждал их, а они все не появлялись. Наконец он не выдержал и вышел в коридор. Смотрит, какая-то женщина подметает пол. Он спросил ее:

— А где же люди, которые в этом зале сидели недавно?

— Эко, спохватился...— сказала женщина.— Их, поди, как лет восемь назад снесли на Всехсвятское кладбище.

Мастер Тычка никогда не удивлялся чудесам. На этот раз за свою долгую жизнь впервые удивился. Он хотел проверить, правильно ли сказала женщина, но у него при себе не оказалось часов.

Тычка никогда не видел себя, а только других. Недаром его имя стало символом чести, доброты и справедливости рабочего люда. Такими были и его ученики. Мне хочется поведать об одном из них. Он был настолько незаметным человеком на заводе, что его фамилию знали только в отделе кадров и в бухгалтерии. Может быть,

и я никогда не заговорил бы о нем, если бы в самый разгар Великой Отечественной войны мне не пришлось стоять с ним рядом.

Его звали дядей Федей. Так его звали и малые, и пожилые, и даже начальники.

Если у кого-нибудь случалось дома несчастье, сейчас же бежали к нему: «Дядя Федя, не подменишь ли меня на часок?»

Если возникали непредвиденные работы или попадались такие, за которые платили мало и все под разными предлогами старались отказаться от них, опять обращались к нему: «Дядя Федя, не останешься ли на вечерок для пользы дела?» И дядя Федя неизменно отвечал:

— Хорошо, хорошо.

Он делал столько мелких и незаметных работ, что даже начальство иногда вставало в тупик: «Сколько же нужно заплатить дяде Феде?» А потом решало: «Ладно, заплатим ему по средней, дядя Федя не обидится».

Но как только у людей в цехе и дома налаживались дела, опять забывали о нем. Правда, перед праздниками, когда на заводе начинали готовить списки лучших людей, снова вспоминали дядю Федю и в то же время задумывались: «Как же с ним быть? По отчетным данным он числится «средним» рабочим. А вдруг кто-нибудь проверит и скажет...» И, наконец, приходили опять к такому решению: «Ладно, дядя Федя не обидится». И обходили его фамилию.



Дядя Федя действительно не обижался. Наоборот, даже радовался, когда других хвалили за хорошие дела, и от всей души пожимал им руки. И каждый гордился пожатием его рук, считая, что если уж его поздравил дядя Федя, то значит не напрасно хвалили другие.

Я был тогда подростком. Только что на завод пришел из ремесленного училища, а поэтому ни я, ни мои товарищи еще не были приучены к экономии денег и часто получалось так, что нам было не на что выкупить свои крохотные пайки. И тут всегда выручал дядя Федя. Он вытаскивал несколько рублевок из замусоленного кармана и подсовывал нам.

— Дядя Федя,— стесненно спрашивали мы,— а у вас-то есть ли деньги?

— У меня? — удивленно отвечал он.— Еще миллион.

Нередко получалось и так: пока мы со своими пайками доходили до цеха — и сами не замечали, как съедали их. А в обед нам приходилось смотреть, как едят другие. Тут опять к нам подходил дядя Федя и давал на всех хотя маленькую корочку, но настоящего хлеба, который в те времена, как нам казалось, не имел даже цены.

И снова мы спрашивали его:

— Дядя Федя, а у вас-то остался хлеб?

— У-у, еще целый вагон.

Иной раз из вежливости его спрашивали:

— Как живем, дядя Федя?

— Лучше всех! — бодро отвечал он.

А мы привыкли к тому: если человек говорит так, то зачем и беспокоиться о нем?

Но однажды, когда уже фашистские пушки почти уперлись в стены «Российского колчана» — Тулы, к нам пришел корреспондент и попросил начальника цеха назвать ему фамилию лучшего человека.

— Я не могу назвать такого,— ответил начальник.

— Почему?

— Потому что здесь все неплохие.

И действительно, кого он мог назвать, когда все сутками не выходили с завода и отекшие ноги людей от беспрерывной работы походили на чугунные тумбы и, казалось, они были приварены к полу. Но корреспондент настаивал, доказывал, что это очень нужно:

— Неужели среди лучших нельзя выбрать самого лучшего?

— Хорошо,— сказал тогда начальник,— если так нужно, пишите о нем.

И указал на худощавого человека, стоявшего за токарным станком. Он указал на дядю Федю.

Мы, подростки, так обрадовались, что наконец заговорили о дяде Феде, даже приостановили свои станки.

— А кто он? — спросил корреспондент.

— Самый обыкновенный.

— А что за биография у него?

— Тоже обыкновенная. Сначала родился, потом женился и почти с самого детства работает у нас.

Прежде чем подойти к дяде Феде, корреспондент стал рассматривать его. Тот был в засаленной гимнастерке с потускневшими медными пуговицами. Лицо запыленное, как потолочные окна цеха. Глаза у него тоже были тусклые, как пуговицы на гимнастерке. Наконец, корреспондент подошел к нему и начал объяснять, что ему нужно.

— Сейчас, сейчас,— сказал дядя Федя.— Я только минуту.

И продолжал работать. Он вытачивал детали наподобие колесиков, и работа была настолько однообразной, что корреспонденту стало скучно смотреть. И у станочника движения были так надоедливо одинаковы, что они скорее всего походили на движения автомата, нежели человека. Затем корреспондент увидел на станке у дяди Феди ку-

сочек хлеба, на который все время поглядывали другие, а хозяин на него не обращал внимания. Корреспонденту неловко стало за других. Но он, видимо, не знал, что значит, когда люди перестают замечать свой хлеб, и не мог понять нашей тревоги.

Корреспондент выкурил еще одну папироску, другую... Прошелся по цеху. А дядя Федя продолжал работать. Корреспондент еще раз напомнил о себе.

— Сейчас, сейчас,— опять сказал дядя Федя.— Мне осталось немножко. Я только закончу...

Наконец, он остановил станок, аккуратно сложил стопочками детали, смел со станка стружки, тщательно вытер ветошью руки и опять сказал:

— Я сейчас, только минуту...

Сел в стороне на ящик, устало прислонившись теменем к грязной, обхватанной замасленными руками стенке, словно что-то обдумывал. Корреспондент еще выкурил пару папирос и уже начал нервничать, думая: «Может, начальник в насмешку послал к этому человеку?».

И тогда подошел к нему, чтобы сказать, что у него тоже ограниченное время и он больше ждать не может. Дядя Федя медленно, по стенке стал сползать вниз. Все кинулись к нему... И может быть, оттого, что нам стало страшно, он на наших мальчишеских руках снова воскрес. И мы от радости плакали. Ведь нам дядя Федя был так нужен со своей добротой...

Я всегда завидовал тем людям, которые могли изрекать слова-молнии и оставлять их светиться в душах людей.

Мне кажется, хоть мельком, но такого человека я видел. И до сих пор хочу верить, что это был мастер Тычка. Но

подойти к нему не посмел. Перед ним стоял подросток, робко и печально смотрел на него.

— Ты о чем так задумался, малый? — он спросил у подростка.

— Дома неприятности, — ответил тот.

— А что такое?

— Укоряют, что я два года работаю на заводе, а до сих пор заметным не стал. С кем нужно говорить, чтобы я стал заметным, — не знаю.

— Только с железом.

Рядом с мальчуганом ждала своей очереди молодая женщина.

Она с такой надеждой смотрела на учителя своего мужа, что учитель не выдержал ее взгляда и сказал:

— Вы тоже хотели что-то спросить у меня?

— Да, великий мастер, — сказала женщина, — мой муж был самым любимым вашим учеником. Его здесь прозывали Бредовым. Он мечтал создать такой металл, который бы не мог расплавиться даже на солнце. Вы не забыли его?

— Нет, нет, — ответил учитель.

— Так вот, ему не повезло. Его посадили делать такую работу, которая, может быть, пригодится через три четверти века. Он работает уже более десяти лет, а конца работы не видно. Его же друзья за это время стали известными, получили большие звания. Их заметили. А моего мужа заметить не могут.

— Милая моя, — сказал учитель, — как же их могли не заметить? Конечно, заметили. Они ведь копали хоженую дорогу, где уже росла трава, а твой муж копает каменную. И в его работе края никогда не будет.

Великая доброта, конечно, участь великого человека, но мне кажется, что каждый мастер должен так же вот всю жизнь раздаривать людям надежды и радости, чтобы достойно носить звание учителя не только ремесла, но и жизни.



ОКАЗЫВАЕТСЯ, ПАРЕНЬ ИЗ ЭТОГО ГВОЗДЯ ВЫКОВАЛ САМОГО ЛЕВШУ.

— Мастер, а долго мне осталось учиться?

— А сколько, милая моя девочка, ты у меня учишься?

— Завтра уж будет восьмой день.

— Да, уже долго. Вот если ты сумеешь нарисовать такую картину, какую делаю я, то я скажу: довольно.

— Ох, какие вы хитрые. Сегодня я не сумею.

— Пусть будет завтра.

— А что будет за завтрашним днем?

— Если сегодня и завтра ты ничего для себя не сумеешь взять хорошего, то наступит только послезавтрашний.

— Мастер, а мастер, а почему края вашей картины смотрятся не так красиво, как середина?

— Это потому, что она без рамки. А картина без рамки — что генерал в бане.

— Мастер, а кем вы меня хотите выучить, рабочим или художником?

— Я думаю, пока ты вырастешь, люди не будут себя разделять на рабочих и художников, а всех будут называть художниками, неважно, на какой бы они работе ни работали.

Руки... Если бы не было их, то дурманом бы заросли поля, потухли в топках огни, онемела бы музыка, белыми оставались в книгах листы и одичал бы мир.

Недаром деды отцам, отцы сыновьям вместе со своими сокровенными думами так бережно передают умение и теплоту рабочих рук.

Много раз мастера Тычку заставляли прощаться с жизнью. Во время второй мировой войны, когда фашисты схватили его на окраине Тулы, спросили:

— Кто ты?
— Оружейник,— ответил мастер Тычка.
— Становись тогда к стенке.
— А руки? — спросил он.
— Что руки?
— Руки-то останутся живыми.
— Как живыми?
— Я их передал своим ученикам.

Учеников у Тычки был целый город, и все творили чудеса.

В Туле давно мечтали поставить памятник Левше. И однажды объявили конкурс на создание монумента легендарному умельцу. Вскоре со всех концов России посыпалось столько проектов, что у наших ценителей искусств кругом пошла голова. Один памятник был величественнее другого, и не знали, на котором остановиться.

А на оружейном заводе был паренек, способный и грамотный малый. Он добился того, что мог на торце спички укладывать сто подков и свободно расписываться на кончике иглы. И когда он свои работы показывал другим, ему говорили:

— Хорошо, но у Левши чуточку лучше выходило.

Однажды разозлился малый и сказал:

— Тогда покажите работы Левши; если они действительно достойны легенд, я берусь своими руками ему сделать памятник.

Молодые мастера засмеялись, а у стариков заскребло в душе. Слишком его слова показались им дерзкими.

А в Туле от работ Левши остался только один гвоздик, которым он прибивал подковы блохе, да и тот держали под семью замками.

Тогда старики вытащили этот гвоздик и сказали:

— На! Хоть месяц смотри, если сумеешь сделать что-нибудь подобное.

Малый взял у них сгоряча этот гвоздик и пошел домой.

Проходит месяц, он все не несет гвоздя.

— Ты не потерял? — спрашивают его.

— Нет,— отвечает он.

Еще прошел месяц. Парень даже не заикается о гвозде.

— Ох, покорежил, наверно! — теперь уже с беспокойством заговорили старики.

— Да нет,— опять отвечает малый.

— А почему не несешь?

Схватили его тогда за шиворот и потащили домой. Приходят, взглянули на гвоздик — он действительно покорежен. Что делать? Положили под увеличительное стекло, чтобы посмотреть, нельзя ли его снова выправить. Первый мастер только прильнул к стеклу и ахнул.

Оказывается, парень из этого гвоздя выковал самого Левшу.

И его работу признали самым лучшим памятником Левше.

Тычке тоже хотели поставить монумент в Туле, но пока не нашлось такого веселого умельца, который мог бы вылепить если не его самого, то хотя бы руки, умевшие из кандалов выковывать невиданной красоты ожерелье и этим рассмешить целое государство.

Пусть для него служит памятником вечный перестук молотков, пробуждающий в людях любовь к созиданию.



МАТРОССКИЕ СКАЗКИ, ЛЕГЕНДЫ И ШУТКИ







КОРАБЛЬ-ТУЧА

Эй, пострел, готов ли ты к далекому плаванию? Не позабыл оставить частицу своей души в родной стороне? Смотри же, а то придется тебе пересаживаться на корабль-тучу!

О-о! Да ты, оказывается, еще ничего не знаешь о корабле-туче? Тогда садись и слушай, пока еще не вышел в открытое море. Об этом нужно знать, прежде чем выучишь первое морское слово.

Так вот, когда-то очень давно, в одном портовом городишке жила бедная женщина с таким же малолетним сыном, как ты. Ничего не успел оставить ей для памяти перед смертью муж, кроме единственной дощечки — осколка от корабля, на котором было выцарапано:

«Милая Маша, вот и опять у русских берегов установился покой. Последний пират уходит за горизонт. Если мой корабль придет без меня, ты не пугайся. Я очень тяжело ранен. Расти сына, а как вырастет, не забудь мой мундир надеть на него.

Навсегда твой муж, но теперь уж бывший капитан «Доброй Надежды». Прощайте».

Сын часто читал эти слова и никак не мог дождаться дня, когда мать наденет на него отцовский мундир.

Мать прекрасно знала, о чем мечтает ее сын, но однажды все-таки подозвала его к себе и спросила:

— Кем ты хочешь быть?

Мальчику стало даже смешно.

— Конечно, капитаном,— ответил он.

Мальчик хорошо помнил своего отца, и ему очень нравилось, как красиво одевался тот. Как-то раз, в отсутствие матери, надев на себя отцовский мундир, мальчик

чуть не захлебнулся от счастья, хотя мундир на нем еще висел мешком.

— Капитаном,— снова проговорил сын.

— Хорошо,— сказала мать и на второй день положила перед ним стопку новеньких книг, а перед собой вывалила из брезентового мешка целую груду грязного офицерского белья.

И с этих пор мальчик с книгами занял место у стола, а мать — у корыта.

Пока мальчик учился, был он с матерью очень ласков. Но, когда окончил учение и надел на свои плечи отцовский мундир, стал стесняться выходить с ней на люди. Пока он рос и хорошел, она ведь старела, а непосильная работа стала ее клонить к земле. Он не говорил матери об этом открыто, а она не могла не видеть перемены в сыне. Но матери многое прощают своим детям.

Когда опять началась война, мать последний кусок принесла сыну на корабль, провожая его в море. Ведь как ни хороши харчи на кораблях, материнский кусок всегда бывает слаще.

Вышел сын в открытое море и пропал. Будто канул в воду. Ждет его мать год, ждет его десять. Матросские матери не перестают ждать своих детей. Даже погибших...

Как только справится мать со своей работой, сейчас же приходит на берег моря и смотрит вдаль до тех пор, пока солнце в ее глазах не становится черным.

В один прекрасный день в бухту вошел красивый корабль под алыми парусами. На этом корабле все вещи сверкали золотом. Якорные цепи и даже сами якоря были золотыми. Люди еще никогда не видели такого корабля. Все жители городка, с мала до велика, высыпали на берег моря.

И вдруг неожиданно для всех с мостика корабля прозвучала команда:

— Смести этот город с лица земли и не оставить здесь ни единой души!

Ударили корабельные пушки, и били они до тех пор, пока все дома не сровнялись с землей и не стало слышно человеческого голоса. Тогда корабль причалил к берегу, и седой, с ястребиным носом адмирал повесил на шею капитана большой бриллиантовый крест. А в это время из-под развалин домика, стоявшего у самого берега, вышла сгорбленная старушка и стала карабкаться по трапу на корабль, навстречу капитану с адмиралом, которые собирались сходить на берег.

— Куда тебя несет, старая черепаха? — заорали на нее матросы.

— Я хочу спросить у капитана, есть ли у него мать,— ответила старуха.

Капитан, узнав в старухе свою мать, сначала смутился, а потом, справившись с собой, закричал на матросов:

— Кто вам разрешил подпускать к кораблю всяких старух? Нет у меня никакой матери!

— А если у тебя нет матери,— сказала старуха,— значит, нет у тебя и родины, а если нет родины, тогда не место тебе не только на земле, но и на море. Блуждающим людям — судьба блуждающих туч.

Только она успела проговорить так, как корабль стал подниматься к небу и превращаться в тучу.

— Мама, мама! — закричал капитан, но уже было поздно.

Ветер подхватил тучу и понес куда-то.

С тех пор эта туча бродит по свету. Другие тучи хоть дождем выпадают на землю, а эта носится от одного края неба до другого с опущенными якорями, тщетно надеясь зацепиться хоть за что-нибудь на земле.

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ УРАГАНЫ И БУРИ

Правда или неправда, но наши деды говаривали, что раньше на морях и океанах ураганов не было, а появились они вот как.

Однажды по какой-то причине (об этой причине до сих пор ничего не известно) один корабль налетел на рифы — подводные камни — и разбился вдребезги.

Погибли все, кроме одного матроса. При нем осталась только шлюпка да за поясом нож. Сидит матрос на шлюпке посреди моря и думает: «Что делать? На веслах домой не добраться».

Думал, думал он, вытащил из-за пояса нож, вырезал лоскут неба и из этого лоскута скроил паруса. В небе осталась прореха, из нее подул сильный ветер и в один миг принес матроса к родным берегам.

Когда моряк без корабля добирается до берега, что он прежде всего делает? Конечно, тут же нанимается на другой корабль, а потом уж идет домой. Приходит матрос на первый попавшийся парусник и рассказывает капитану: я, мол, такой-то и такой и случилось со мной то-то и то-то.

Какой капитан откажется от старого и бывалого матроса? Тут же он зачислил матроса в свою команду и отправил домой отдыхать, предупредив, что корабль к вечеру уходит в море.

Распрощался матрос с капитаном и пошел к жене, которую не видел очень давно.

Жена, встретив мужа живым и невредимым, обрадовалась и, не дав ему сказать слова, посадила за стол. Сидит матрос за столом, но в горле у него все застревает: ведь в небе-то осталась прореха, надо залатать ее!

— Не беспокойся,— сказала жена, узнав, почему муж не притрагивается к еде,— ешь, пей, я сама это сделаю и сделаю лучше тебя.

— Ну, ладно,— согласился матрос,— пусть будет по-твоему.

Он плотно поел и заснул.

К вечеру просыпается матрос и видит свою жену в необыкновенно красивом голубом платье, и такая жена красавица в этом платье, что глаз от нее не оторвать. Только он хотел похвалить жену, как с берега раздался звон колокола: бом, бом, бом...

Это корабль звал его в море.

Выбежал моряк на улицу, поглядел на небо, а оно все в черных, белых и серых пятнах. Оказывается, жена, увидев на парусах красивую материю, взяла и перекроила ее на платье, а своими залатала небеса.

С тех пор как где-нибудь прорвется заплата, начинается ветер. Только успеют заштопать эту заплату, глядишь, уже трещит другая. Заплаты так в конце концов растрепало ветрами, что они превратились в тучи, которые теперь носятся с одного края неба в другой.

Вот как, по словам наших дедов, появились ураганы и бури. А насколько это правда, суди сам.

ЛЖИВЫЙ БОЦМАН И ВАНЯ МОРСКОЙ

Моряки говорят: «Никогда не плюй на палубу, после того как ее касались матросские руки, иначе на этом месте может вырасти твоя беда». А если так говорят они, значит, не напрасно. Послушай, какая история произошла на одном корабле.

Стоял этот корабль у причала, нагруженный разными товарами, готовый уже к выходу в море. Матросы, окончив уборку, стояли, прислонившись к бортам, и покуривали трубки, перед тем как приступить к другим работам. А над ними так радостно сияло солнце, что казалось, если бы у него были руки, оно бы немедленно захлопало в ладоши. Ведь матросы так хорошо отдраили палубу, что она походила на яичный желток. А посреди этой палубы с важным видом стояли толстый, с засаленным животом боцман и длинный, как футшток[1], капитан.

Капитан, зевая, посматривал вверх, думая о чем-то своем, и в такт словам боцмана кивал головой. Боцман же сердитым голосом говорил матросам:

— Ах вы, несчастные тюлени! Вам бы не работать, а только на солнышке греть свои бока. Как только у вас хватает совести показывать такую срамную палубу людям и даже капитану?!

Хотя самому боцману и нравилось, как была надраена палуба, но хвалить матросов при капитане он не хотел, тем более что тот в такт его словам кивал головой. А поэтому боцман продолжал:

— Дворники и те улицы содержат лучше, нежели вы палубу корабля. Если неверно я говорю, пусть явится мать

---

[1] Футшто́к — палка с делениями для измерения уровня воды в море, реке, озере.

матросской справедливости или хоть сын ее и вместо языка мне подвесит эту поганую швабру.

И, чтобы еще больше показать свое усердие к службе, боцман с пренебрежением плюнул на палубу. Только он успел это сделать, как перед ним вырос здоровенный детина с матросским ножом и шваброй за поясом. Боцман от неожиданности даже отпрянул назад.

— Мать моя несчастная! Это еще что за чудо-матрос появился у нас? — пробормотал боцман.

А появившийся неторопливо откинул русый чуб назад и спокойно сказал:

— Я Ваня Морской, сын матросской справедливости. Пришел выполнить то, о чем меня просили.

И, больше не говоря ни слова, взял он швабру и ширнул боцману в рот.

Боцман хотел на него накинуться с бранью, но вместо языка у него теперь болталась швабра. Шлепает он ею по губам, а выговорить ни слова не может. Ваня же Морской как появился внезапно, так и исчез. А капитану пришлось списать боцмана с корабля.

И теперь, говорят, он ходит со шваброй во рту от корабля к кораблю, но в море его никто не берет. Да и кому нужен такой лживый боцман!

КОРАБЛЬ С ПОТЕРЯННОЙ СОВЕСТЬЮ

Ох уж эта совесть, никому она не дает покоя!

В предрассветный час матросу так хочется спать, а совесть говорит:

— Вставай, голубчик, пора уж на вахту.

Может быть, матрос еще бы поспал лишнюю минуту, но совесть одно и то же твердит и твердит ему, пока

он со злостью не выбросит подушку из-под головы и не спрыгнет с постели.

А на вахте стоит этой совести разглядеть в каком-нибудь углу (где бы и боцман даже не заметил) соринку — обязательно, дотошная, заставит лезть туда.

Прямо беда с ней! Если бы ее можно было выбросить за борт, как кок выбрасывает оставшуюся пищу! Или, может, где-нибудь ее потерять.

Наверное, без совести жилось бы куда лучше.

И вот на одном корабле матросы решили избавиться от такой обузы, как совесть. Перед выходом в море они отошли как можно дальше от корабля, легли на землю и стали кричать:

— Не выйдем в море! Не выйдем в море!

Совесть колотилась, колотилась у каждого в груди, наконец, выйдя из терпения, плюнула им в души и выскочила наружу.

Матросы, почувствовав себя свободными от совести, быстро поднялись на ноги и бегом на корабль. Но совесть ведь тоже не глупая, она по пути в порт забежала в портняжную мастерскую, быстренько переоделась в матросскую робу и почти вслед за матросами поднялась на палубу корабля.

Матросы, обрадовавшись, что избавились от совести, быстро отдали концы и вышли в открытое море. Выйти-то вышли, а на палубе сам черт мог ногу сломать. Ящики грудами лежали на бочках, бочки — на ящиках. Вся эта свалка издали походила на мусорную кучу. И хоть бы кто-нибудь из команды взял да ради потехи и закрепил бы одну бочку какой-нибудь плохонькой веревкой, не говоря уж о том, чтобы весь груз переложил в трюм. А матросы лежат себе спокойно с задранными вверх ногами и в ус не дуют. Совести теперь у них нет. Даже боцман с капитаном из своей души ее вытрясли.

На этом корабле с совестью остались только одни паруса, они подставили свои спины ветру и добросовестно толкали корабль вперед.

Совесть же, в какую бы форму она ни переодевалась, всегда остается совестью и не может терпеть беспорядок. Она подбежит то к боцману, то к капитану, то к матросам, прося, чтобы хоть палубу привели мало-мальски в порядок. А ей говорят:

— Это еще что за начальник в матросской робе явился командовать нами! Если тебе нужно, убирай сам.

Что могла бедная совесть сделать с такими матросами? Вместо них сама поднималась из кубрика на палубу и, сколько у нее хватало сил, старалась там поддерживать порядок. Словом, дни и ночи несла за бессовестных вахту.

А корабль плывет. Плывет неделю, плывет две. Совесть уже еле ноги таскает. Она ведь не числилась в списке команды, а поэтому ее и не кормили. Если в камбузе[1] после обеда оставалось что-нибудь, значит, ела, а если нет — ходила голодная.

Как-то совесть попросила одного матроса помочь ей свернуть толстый и тяжелый канат. Матрос посмотрел на нее и спросил:

— Ты что, больше всех хочешь денег получить, что ли?

— А я совсем не получаю,— ответила совесть.

— А что же стараешься так?

И чтобы больше никому совесть не надоедала, этот матрос взял да и столкнул ее в якорный ящик. А она уж так обессилела, что не могла даже выбраться оттуда. И, наверное, умерла бы там, если бы в это время не разыгралась буря.

Груз на корабле сразу ожил. Ящики заползали по палубе, бочки, как стадо буйволов, нечаянно попавших

---

[1] Ка́мбуз — так называется кухня на судне.

в загон, стали носиться из стороны в сторону и рушить все, что попадалось им по пути. Судно, как человек, которого бьют, раскачивалось из стороны в сторону и начало зарываться в воду.

И тут матросы поняли, что, если вскорости они не придут в порт, будет им в море конец. Поэтому, когда они увидели свой порт, все радостно закричали, а на капитанском мостике весело заговорили флажками.

«Внимание, внимание, прибыла с рейса шхуна «Голубая волна», просим как можно скорее впустить нас в порт».

А с портовой сигнальной вышки отвечают:

«Впустить в порт не можем. У нас кораблей без совести не принимают».

— Как это они нас не могут впустить! — загалдели матросы.

И опять началась перепалка флажками. А с портовой сигнальной вышки отвечают по-прежнему:

«Нет, нет, нет. У нас не принимают кораблей без совести».

Не пропадать же морякам! Капитан приказал послать радиограмму в соседний порт. Там тоже «Голубую волну» не принимают. Ни в один порт не хотят этот корабль пускать. Что же делать?

Сбились матросы в кучу, зачесали затылки и начали друг друга упрекать, что ни один из них не оставил в своей душе



хоть частицу совести. Кричали, кричали, а потом кто-то воскликнул:

— Братцы, не наша ли совесть валяется в якорном ящике?

Матросы сейчас же кинулись туда. Вытащили полуживую совесть. Освежили ее холодной водой. Когда совесть открыла глаза, все обрадовались и закричали разом:

— Говори, пожалуйста, что ты хочешь от нас? Мы все для тебя сделаем.

Совесть не успела сказать и слова, как из задних рядов опять закричали:

— Что говорит совесть? Поднимите ее выше. Мы все хотим слышать ее голос.

И матросы подняли свою совесть на капитанский мостик. Только успели ее поднять, радист корабля сразу получил сто двадцать пять телеграмм. Сто двадцать пять портов «Голубую волну» к себе приглашали.

МАШЕНЬКА — ВЕТРЕНЫЕ КОСЫ

Эту сказку я слышал очень давно от одного старого матроса, которому в свое время рассказал ее боцман, боцману — какой-то лоцман, тому, видимо, еще кто-то. А теперь я расскажу тебе. Надо же знать, какие сказки складывали наши деды и прадеды во времена парусного флота.

Так вот, у одного капитана была веселая дочурка-быструшка. Косички у нее торчком. Если надо узнать, куда дует ветер, не смотри на флюгер, гляди на ее косички — и точно будет так. Поэтому все матросы ее и звали: «Машенька — ветреные косы».

У капитана не было жены, и когда он уходил в рейс, оставляя Машеньку одну, становился мрачнее тучи. Жен-

щин-то на корабли тогда не брали. «Кто его знает, какие за это царь морской Нептун может устроить неприятности?» — думали моряки.

Но у матросов тоже ведь сердца были не каменные. Посоветовались, посоветовались и решили сделать так: пусть боцман, как старший человек по возрасту и чину, наберет из-за борта воды, перекрестит ее трижды и, прежде чем Машеньке подняться на корабль, ополоснет трап этой водой. Но, когда Машенька явилась, все позабыли про это дело, даже старый боцман. У Машеньки такой задорный смех: кого хочешь может растревожить, тем более моряков, у которых сердце всегда нараспашку.

Когда спохватился боцман, корабль был уже в открытом море. «Будь что будет,— сказал он,— семь смертей не видать, а одной не миновать!»

Пошел корабль дальше. Плавают месяц, плавают два. За это время ничего худого не произошло. Погода все время стояла хорошая, будто в присутствии Машеньки ураган стал стесняться озорничать на море.

В одном порту на этот корабль пришел человек и стал просить, чтобы его приняли на работу. На вид он угрюмый, волосы белесые, взлохмаченные, как тучи.

— Куда я тебя возьму? — говорит капитан.— У меня все места на корабле заняты.

Когда человек услышал слова капитана, даже закачался от горя.

— А что умеешь делать? — спрашивает его капитан.— Сумеешь ли оказать помощь матросам на мачтах, если вдруг мы попадемся в руки урагану?

Вместо того, чтобы ответить капитану, человек вспорхнул сразу вверх, будто его чем-то подбросило, и начал с мачты на мачту носиться, даже все рты разинули. Никому еще не приходилось видеть подобного матроса. А капитан сказал:

— На море лучших матросов зовут кошками, а этого, пожалуй, можно назвать ветром.

И взял этого человека к себе. Не мог же капитан знать, что к нему поступил на работу сам Ураган.

Когда Ураган немножко свыкся на корабле, возьми и привяжись к Машеньке. Надо ему на мачту лезть, он Машеньку с собой берет, а та и рада этому. Сидят они там и о чем-то шепчутся, а то совсем исчезнут куда-то с верхушки мачты на целый день.

— Где ты пропадаешь? — спрашивал свою дочь капитан.

А та отвечала:

— Я сегодня была у мыса Доброй Надежды.

Или скажет:

— Я смотрела Берег Слоновой Кости.

— Не городи чепуху,— говорил ей капитан,— наш корабль плавает по Черному морю, а ты была в Африке. Как туда могла попасть?

Машенька заливалась смехом и убегала от отца. Время шло. Пока Ураган работал на корабле матросом, он носил Машеньку по всему свету, и ей это нравилось. Но всему бывает конец.

Как-то раз боцман выходит из своей каюты поздним вечером и слышит такие слова:

— Ты должна наконец решить, будешь моей спутницей или нет. Я уже не могу больше находиться на Черном море. Мне тесно тут. Хочу в океан. Сюда пришел только ради тебя. Неужели тебе не хочется быть грозной властительницей над всеми морями?

Это говорил Ураган. А Машенька отвечала ему:

— Нет, дорогой Ураган, я не могу бросить отца. Если бы я решилась быть ветром, то только теплым ветром, чтобы вечно ласкать свою родину Россию, а бродить по миру с холодной душой я не хочу. Прощай, дорогой

Ураган, спасибо тебе, что ты показал мне много чудесных стран и морей. О них я никогда не забуду.

— Нет,— сказал Ураган,— если уж я полюбил тебя, то все равно не быть тебе среди людей.

Схватил он девочку и сразу исчез с корабля. Боцман ударил в колокол. Выбежал капитан.

— Машенька, Машенька! — кличет он.

— Я здесь, здесь, папа! — отвечает Машенька откуда-то сверху.

Она кричит, но отец не слышит ее; она обнимает отца, но он не чувствует этого.

— Я здесь,— кричит она матросам,— никуда от вас не ушла! — и треплет их за волосы.

Матросы тоже Машеньку не слышат. Только чувствуют, что ветер шевелит их волосы, и все.

А Ураган кричит свое:

— Ну что, не соглашалась по-доброму быть моей спутницей? Все равно я тебя оторвал от людей и превратил в ветер. Что теперь будешь делать?

— Приносить людям тепло,— отвечает Маша.

Когда моряки начинают уставать от зимних штормов, Машенька им всегда приносит с юга тепло.

Раньше этот ветер на Черном море так и называли Машенькой, а теперь его называют Моряной.

САМЫЙ ЗАМЕТНЫЙ

Одному человеку казалось, что его никто не замечает на корабле. Придет он к сыну матросской справедливости — Ване Морскому, уставит на него свое постное лицо и глядит.

— Что ты хочешь? — спрашивает его Ваня Морской.

— Да меня никто не замечает на корабле.

— А кем ты работаешь?

— Матросом.

— А кем хочешь быть, чтобы замечали тебя?

— Хотя бы боцманом.

— Хорошо,— сказал Ваня Морской.

Поставил его боцманом. Проходит некоторое время, снова он приходит к Ване Морскому.

— Чем опять недоволен? — спрашивает Ваня Морской.

— Ну кто такой боцман на корабле? — говорит он.— Это только хозяин авральных дел. Люди больше глядят на капитана. Если можно, лучше поставьте меня капитаном.

— Ладно,— говорит Ваня Морской,— с завтрашнего дня будешь капитаном.

Еще проходит некоторое время, снова является этот человек к Ване Морскому.

— Теперь-то чем опять недоволен? — спрашивает Ваня Морской.

— Капитан тоже не всегда бывает заметным на корабле. Люди его видят только на мостике, а когда он находится в каюте, кто его видит?

— Ладно,— сказал Ваня Морской,— сделаю так, чтобы тебя все время видели.

И поставил его мачтой. После этого он стал самым заметным на корабле.

ВНУК ЗЕЛЕНОЙ МОЛНИИ

Рассказывают, что раньше капитаны брали на свои корабли людей только сильных, с широкой грудью, с плечами в косую сажень. Однажды к борту парусного судна, отплывающего в далекие страны, подошел худенький юноша.

— Что тебе надо? — спросили его матросы.

— Мне надо увидеть вашего капитана.

Когда вышел капитан, юноша сказал:

— Я слышал, что вы уходите в далекое плавание. Возьмите меня с собой, не глядите, что я худ, при несчастье очень могу пригодиться вам.

Капитан улыбнулся. «Эх, бедный мальчик,— подумал он,— с твоей ли силой помогать людям? Сидел бы уж дома».

Юноша догадался, о чем думал капитан, и еще настойчивее стал просить, чтобы его взяли на корабль. Жалко стало капитану юношу. «Ладно же, — решил он, — пусть пойдет с нами в море, в крайнем случае поможет коку чистить картошку». И приказал юноше подняться по трапу.

Когда корабль вышел в море, юноша наотрез отказался идти в камбуз и стал в ряд с матросами. А те смеялись над ним.

— Какой из тебя матрос,— говорили они,— если у тебя душа в теле еле держится?

Юноша же наравне со всеми лазил по мачтам, стоял ночные вахты, таскал витки канатов, под тяжестью которых сам изгибался, как канат. Однако он держался на ногах и не позволял никому помогать себе. Но команда все-таки не верила в его силу, и даже матросы с других кораблей стали смеяться над ним. Тогда капитан приказал спустить юношу в трюм, чтобы до возвращения в свой город его не мог увидеть ни один человек.

Едва корабль вышел в чужое море, на него напали пиратские корабли. Храбро оборонялись моряки, но пиратских кораблей было больше, и они всё ближе подходили к судну, чтобы взять его на абордаж [1] и полонить матросов.

---

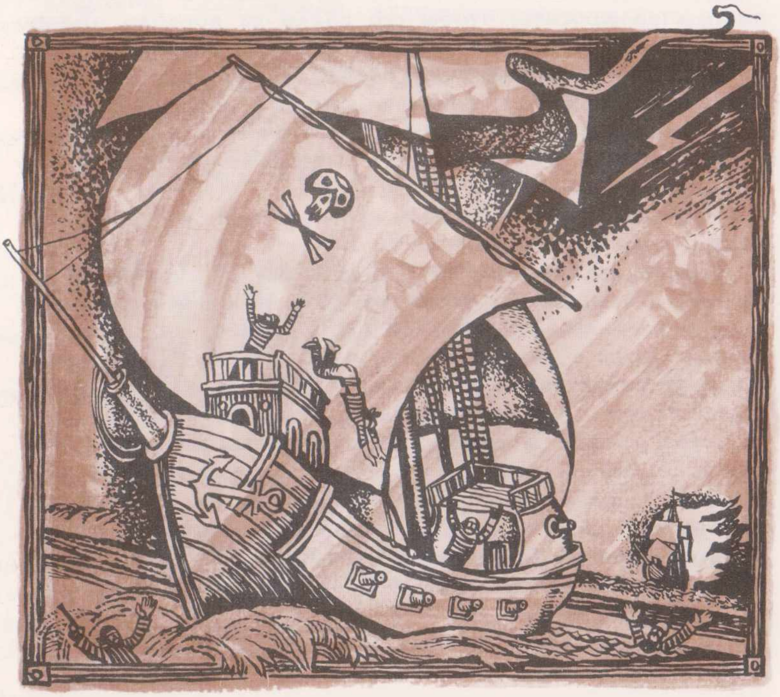
[1] Взять на абордаж — старинный способ морского сражения: подход к неприятельскому кораблю вплотную для вступления в рукопашный бой.

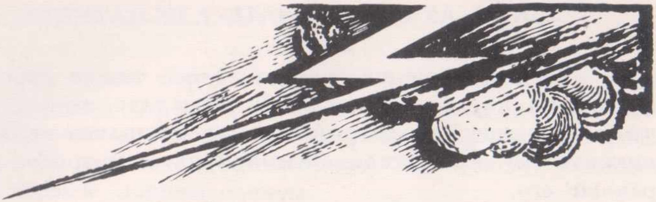
И уже сам капитан потерял веру в спасение.

Тогда юноша вышел из трюма и сказал:

— Я спасу корабль!

Как ни тяжело было у всех на душе, моряки улыбнулись. Юноша, увидев это, даже задрожал от обиды. Он стиснул зубы, выпрямился, и в глазах у него загорелся зеленый огонь. Матросы испугались юноши больше, чем пиратов, потому что никогда не видели в глазах у людей такого огня. Один из них спросил:





— Скажи нам, милый, кто ты? С кем мы плавали?

— Вы плавали с внуком зеленой молнии, которую в порыве гнева во время борьбы с врагами породили ваши отцы, чтобы одержать победу,— ответил тот и взлетел в небо.

— Куда ты? — крикнули ему вслед.

— За меня не бойтесь,— отозвался внук зеленой молнии,— я снова вернусь к вам!

Матросы видели, как он огненной змеей пронесся над мачтами их кораблей, ринулся вниз, прошил одно пиратское судно, второе, третье, и пиратские корабли, подобно факелам, запылали над морем. Когда они один за другим погрузились на дно, капитан приказал спустить паруса, чтобы подождать юношу.

Долго матросы, задрав голову, смотрели на небо, но юноша так и не вернулся. Говорят, через много лет во время жестокого сражения его видели на другом корабле, и снова он беззаветно дрался с врагами. Теперь его уже нет в живых, но ходит молва, что где-то живет его внук, имени которого никто не знает.

КОГДА ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ

Одному юноше очень хотелось чем-то прославиться, но на корабле никогда не выпадало такого случая, чтобы трудное или аварийное дело пришлось первым выполнить ему. Обязательно кто-нибудь из матросов успевал раньше его.

Когда матросы собирались в кубрике и начинали друг друга хвалить или благодарить за помощь, юношу всегда обходили молчанием. Ему это было неприятно. Тем более, что он служил вместе с отцом на одном корабле.

Но однажды и ему выпал случай отличиться перед всеми. Ночью, во время шторма, за борт упал человек. Никто этого не заметил. Юноша поспешно бросил утопающему конец и стал его тянуть на судно. Немного подобрал веревку и крикнул сквозь вой ветра пострадавшему:

— Смотри не забудь, что это я спас тебя!

— Хорошо,— еле слышно ответил тот,— не забуду.

А юноша опять немного подтянул веревку и снова кричит:

— Ты не забудешь сказать в кубрике, что это я спас тебя?

На этот раз пострадавший промолчал.

— Смотри не забудь, что я спас тебя,— опять повторил пострадавшему юноша.

— Чем вечно слушать твои напоминания, лучше уж останусь тут,— сказал пострадавший и нырнул в воду.

К этому времени подбежали к юноше другие матросы.

— Что за чудак оказался за бортом? — удивленно спросил юноша.— Я его тянул, тянул и чуть ли не вытянул совсем, а он вдруг отказался от моей помощи.

— Твой отец,— сказали ему.

КАПИТАН-МЕДУЗА

На одном корабле матросы никак не могли подобрать капитана по себе. Кого ни пришлют командовать ими, матросам казалось, что капитан попался или очень крикливый, или такой беспокойный, что никому не давал переброситься лишним словом.

Как-то раз они пришли к Ване Морскому, поделились своим горем и стали просить его, чтобы он дал им такого капитана, который бы не очень тревожил их на работе.

Сын матросской справедливости выслушал их и спросил:

— А тот капитан, с которым вы плаваете сейчас, тоже очень беспокойный и крикливый?

— О-о, такой беспокойный и крикливый,— сказали матросы,— что житья с ним не видим на море. Не успеет наш корабль выйти из бухты, он уже кричит: «Марш, марш, все к парусам!» Мы только и знаем, что, как муравьи, ползаем по мачтам.

— Хорошо,— сказал Ваня Морской,— я выполню вашу просьбу, пришлю вам такого капитана, какого просите. Но старого не оставляйте на берегу, а то вдруг и этот не понравится вам.

— Ладно,— сказали матросы и пошли к себе на корабль.

Приходят они на корабль, ждут-пождут нового капитана, а его все нет. Перед самым выходом в море — приходит: тучный, представительный, с огромной кокардой на фуражке. Матросы засуетились, старого капитана сейчас же спрятали в трюм, а нового подняли на мостик, даже не посмотрев ему в лицо.

Ну ладно. Вышли они в открытое море, ждут от нового капитана команды. А тот сидит себе на мостике в плетеном кресле и молчит. Молчит он день, молчит два. Матросы без дела расхаживают по палубе, покуривают трубки да похваливают нового капитана:

— Вот он какой хороший и не тревожит нас.

На третий день корабль должен был прийти в порт назначения, а того порта еще даже не видно.

Матросы тогда забеспокоились.

— Куда мы плывем? — спросили они у рулевого.

— Об этом вы лучше спросите у капитана,— ответил тот.

Один из матросов подошел к капитану и вежливо тронул его за плечо. Капитан, как студень из тарелки, чуть не вывалился из кресла. Матрос в испуге отшатнулся от него и воскликнул:

— Братцы, да наш капитан ведь без хребта!

Все ошеломели. Потом подошли к капитану ближе и стали его трогать. А тот матрос, который первым заговорил с ним, нечаянно толкнул его. Капитан выскользнул из мундира, перевалился через леер[1] и шлепнулся в воду. Когда матросы поглядели вниз, они увидели медузу. Это и был их новый капитан. А медузе какая разница, в какую сторону плыть. Лишь бы плыть.

Долго матросы молча смотрели на медузу и недоумевали, как они в капитанском мундире не смогли распознать медузу. Потом отошли от борта и сказали:

— Лучше уж будем плавать с беспокойным капитаном, чем с медузой.

И выпустили опять из трюма прежнего капитана. Тот только высунул оттуда нос, сразу закричал:

— Марш, марш, все к парусам! Рулевой, сменить курс на зюйд-вест!

Матросы с удовольствием полезли на мачты, рулевой повернул корабль на нужный курс, и вскоре они пришли в нужный им порт.

Вот какие чудеса происходят иногда на море.

---

[1] Леер — туго натянутый трос с закрепленными концами.

КАК ПОЯВИЛИСЬ КОРАБЕЛЬНЫЕ КРЫСЫ

По словам наших предков, в очень далекие времена люди плавали только у побережья на маленьких лодчонках из звериных шкур, парусами им тоже служили шкуры. Долго так плавали люди. И всегда они с завистью смотрели в далекие просторы морей. Люди ведь самые любознательные существа на свете. Им хотелось разведать, что таится в этих просторах, какие земли за ними расположены.

И вот однажды на берегу моря собралось несколько племен, и стали они строить большущий-пребольшущий корабль. Целое лето на побережье не смолкал стук топоров, а в хижинах дни и ночи женщины шили костяными иглами паруса для первого корабля.

Когда корабль, подобный чайке, был готов к отплытию, старейшины приказали подогреть над кострами барабаны и бубны и ударить по ним, чтобы все от мала до велика вышли на берег моря. Как только люди собрались на берегу, старейшины обратились к ним с такими словами:

— С давних пор идет молва о том, что за нашим морем живут смелые и сильные люди. Наши отцы и деды давно мечтали добраться до них, чтобы вручить им в знак почтения и дружбы белые розы, которыми так богато наше побережье. Выполняя заветы отцов и дедов, мы построили первый корабль. Но он пока без людей, а без людей корабль — как человек без головы и сердца. Мы хотим, чтобы у нашего корабля было молодое сердце, и поэтому обращаемся к молодым: кто хочет по доброй воле сесть на этот корабль? Имена людей, которые доставят дар нашего берега иноземным племенам, мы напишем рядом с именами наших великих предков на священной скале.

Десятки молодых людей подняли руки к небу. Старейшины попросили их выйти из толпы и с гордостью проводили на судно. Когда молодые люди заняли свои места,

первый капитан под восторженные крики вывел корабль в открытое море.

И вот посланцы плывут день, другой, неделю.

Однажды на море разразилась сильная буря, и тут капитан увидел, что матросы стали по-разному вести себя. Одни, балансируя по шаткой палубе, работали, совсем не замечая шторма, а другие при каждом порыве ветра ежились, втягивали голову в плечи и, к удивлению капитана, сильно уменьшались в росте. Вот сделались они величиной с кошек, вдруг заметались по палубе и через разные отверстия бросились в трюм. Остальные, увидев, что их спутники теряют человеческое обличье, поспешили им на помощь и стали тянуть обратно. Те перепугались еще больше и от страха совсем маленькими сделались. Тела их удлинились и сзади вытянулись в хвосты.

Так на свете появились первые корабельные крысы.

Крысы перепортили весь провиант в трюмах, и матросы остались без хлеба и мяса. От голода моряки изжевали все кожаные предметы на корабле, но все-таки добрались до чужих берегов и вручили иноземцам дар своей земли. Каждый из иноземцев приколол к своей груди розу.

С тех пор люди в знак уважения и дружбы стали дарить друг другу цветы.

Когда корабль снова причалил к родному берегу, крысы первые по канатам выскочили на землю и кинулись к старейшинам, чтобы те записали их имена на священной скале, но их не только старейшины, даже матери не признали.

— Мы вас растили людьми,— сказали матери,— и, если вы потеряли человеческое обличье в море, идите снова туда и возвращайтесь такими, какими мы вас провожали в путь.

Капитану же наказали вывезти несчастных в море в самую сильную бурю, чтобы они не только могли вернуть

себе человеческое обличье, но и доказать, что могут быть настоящими людьми.

Но не успел капитан дать команду, чтобы корабль отчалил, как крысы вереницей бросились по канатам на берег.

Тогда матери предоставили последнее слово отцам. И отцы сказали так:

— Человек тот, кто перед лицом любой опасности крепко стоит на ногах. А кто при невзгодах начинает прятаться в норы, тот не может быть человеком, и нет ему места среди людей.

И отцы приказали уничтожить крыс.

С тех пор крыс начали травить и выкуривать. Придет время, их не будет совсем.

Когда ты вырастешь, мой мальчик, я надеюсь, ты крепко будешь стоять на ногах и гордо нести человеческое имя. А что сказали отцы, ты все же запомни: слово отцов — слово истинное.

СЛЕД НА МОРЕ

Кто сказал, что никаких следов на море не остается? Каждый моряк там оставляет свой след. Только ни один из них не заботится о том, чтобы запомнить его. Такие уж моряки люди.

Когда-то давно на китобойном судне плавал один гарпунщик. А в то время за китами гнались на шлюпках и нередко по многу часов подряд. Преследовали китов до тех пор, пока они не скрывались из виду или не наступала ночь.

Представьте, как точно гарпунщик должен метать свой гарпун. Ведь в случае промаха матросам-гребцам приходилось грести снова изо всех сил, чтобы нагнать зверя.

А за пуганым китом охотиться куда труднее. Поэтому гребцы все свои проклятия сыпали на голову гарпунщика.

В гарпунщики выбирали матросов, у которых были орлиные глаза. Впрочем, нашего гарпунщика и звали Орлиным Глазом. Он был не очень высокого роста, пружинист, с резкими, но четкими движениями рук и немного сутуловат. Таким его, видимо, сделала профессия. Казалось, что он пригнулся, чтобы вспорхнуть ввысь. При виде фонтанов, выбрасываемых китами, Орлиный Глаз сразу терял покой. А фонтаны из дыхал китов выбиваются не так, как рисуют на картинах, а выпаливаются, как выстрелы, в воздух.

Когда показывались киты, Орлиный Глаз забывал и о себе и обо всех на свете. От нетерпения скорее приблизиться к китам он даже начинал взвизгивать, подобно собаке, которую держат на привязи. В тот момент ему казалось, что все слишком медленно движутся и работают, хотя шлюпка для погони за китом спускалась с корабля с самой большой поспешностью и гребцы потом налегали на весла изо всех сил.

Когда наконец шлюпка приближалась к киту, Орлиный Глаз уже весело вскрикивал: «Ну, друзья мои, попробуем пройтись рядом с молнией!» После этого он метал гарпун, и тогда раненый кит тащил шлюпку за собой действительно с быстротой молнии.



Никогда Орлиный Глаз не делал про-

маха. Но однажды... Однажды он бросил свой гарпун мимо. Товарищи думали, что это случайность. Во второй раз повторилось то же самое, повторилось это и в третий. И пошли у него сплошные неудачи. Тогда в одном порту капитан приказал ему собрать свои пожитки и покинуть судно. Гарпунщик встал с постели, видимо, хотел что-то сказать, но как-то неестественно качнулся и рухнул опять на койку. Матросы ахнули. Дело в том, что моряки часто скрывают нездоровье, чтобы не перекладывать свою работу на другие плечи. Матросы тут же начали упрекать капитана в бездушии, но капитан не стал их слушать и через некоторое время привел нового гарпунщика.

Это был худой, невзрачный человек лет двадцати пяти. На его плечах колоколом висела грубая брезентовая роба. При каждом движении гарпунщика она гремела. Глаза у него были какие-то дьявольские. Когда он смотрел на кого-нибудь, то будто пронизывал его насквозь и видел все, что у человека творилось в душе. Поэтому матросы сразу прозвали его Дьяволом в Гремящей Робе. Команда встретила новичка холодно. Никто с ним не поздоровался, никто не спросил его имени. Капитан, видя враждебное отношение к новичку, поместил его в отдельную каюту, и Дьявол почти не выходил оттуда.

Старый гарпунщик, чувствуя поддержку команды, наотрез отказался сходить на берег. Он объявил, что будет состязаться с новым гарпунщиком, и капитан под давлением команды был вынужден пойти на это, но с оговоркой, что первым будет метать гарпун Дьявол.

И вот они в открытом море. За кормой шлюпки, где-то далеко, за туманной стеной, виднелся силуэт судна, а впереди тяжко и могуче вздыхали киты. Оба гарпунщика стояли в носовой части шлюпки, сосредоточенно смотрели вперед и молчали. А море так остервенело бесновалось, что

казалось, вот-вот волна смахнет шлюпку своей белой гривой, и поминай тогда как звали.

Вдруг новый гарпунщик гикнул и пустил гарпун вперед, но в то время, когда он бросал его, волна резко швырнула шлюпку, и гарпун опустился рядом с китом. Но гребцы, против обыкновения, не стали выкрикивать обидные слова гарпунщику, и опять налегли на весла, чтобы догнать кита и дать старому гарпунщику проявить себя. «Он-то должен попасть в кита,— думали матросы,— тем более, что его здоровье пошло на поправку».

Но Орлиный Глаз тоже промахнулся. Теперь опять очередь подошла метать гарпун Дьяволу. Когда шлюпка снова нагнала чудовище-зверя, неожиданно для всех Дьявол оттолкнулся от шлюпки и прыгнул с гарпуном на спину кита. Вода мгновенно забурлила, и Дьявол вместе со зверем скрылся в серой пучине. Матросы, с изумлением следя за кровавым водоворотом, выбивающимся из глубины моря, стали травить линь. А когда линь начал натягиваться, над водой показался он, Дьявол. Его схватили в тот момент, когда шлюпка уже неслась стрелой за китом.

Вернулась шлюпка на судно. Капитан испытующе посмотрел на обоих гарпунщиков и спросил:

— Ну-с, и кто же из вас?

Дьявол выступил вперед и сказал:

— Если у вас уже есть хороший гарпунщик, зачем же надо было приглашать другого?

В тот же день он пересел на случайно подвернувшееся судно, нагруженное ворванью, и уплыл на материк.

Так матросы и не узнали, откуда он и как его имя. В их памяти он остался человеком, которого прозвали Дьяволом в Гремящей Робе, человеком, оставившим в открытом море добрый след. Но куда бы он ни попал и что бы с ним ни случилось, по этому следу его всегда

узнают, и каждый матрос поделится с ним последним. А волны открытого моря снимут перед ним свои белые шапки.

ЛЕГЕНДА О МАТЕРЯХ

Мой дорогой мальчик! Ты, наверное, уже много сказочного узнал о нашей жизни. Но знаешь ли ты, откуда у моряков взялась сила? Не знаешь? Тогда послушай.

Когда-то очень давно на побережье Черного моря жили люди. Как их звали, сейчас уж не помню. Они пахали землю, пасли скот и охотились на диких зверей. Осенью, когда заканчивались полевые работы, люди выходили на берег моря и устраивали веселые праздники: пели, плясали у огромных костров, проводили игры, которые заканчивались метанием стрел — стрел счастья.

Если юноша хотел стать охотником, он пускал стрелу в сторону леса, если пастухом — стрелял в сторону стада, а если пахарем — в сторону поля.

Смотреть на эти игры выходил из морской пучины царь морей и океанов — Нептун. Это очень страшный царь, глаза у него большие, белые, как пузыри, борода зеленая — из водорослей, а тело — сине-зеленое, под цвет моря. Каждый раз, глядя на игры, он, смеясь, говорил:

— Как люди ни хвастаются своей силой, а меня боятся: никто из них еще не решился пустить стрелу в сторону моих владений.

Говорил он так потому, что был уверен: никто не посмеет испытать свое счастье на море.

Один раз вышли к костру юноши. Они вдруг повернулись в сторону моря и все, как один, пустили стрелы туда.

В какую ярость пришел Нептун!

— Я всех вас похороню в пучине морской! — взревел он.



Женщины, глядя на своих сыновей, задумались: царь морской действительно может похоронить их детей в море.

Гордостью тех людей, о которых рассказываю я, всегда были женщины — сильные, красивые, никогда не стареющие.

Думали, думали женщины и решили отдать всю свою силу сыновьям. Юноши, взяв материнскую силу, подошли к самому берегу моря. Чтобы не подпустить их к воде, Нептун бросил громадный вал, но юноши устояли, не согнулись и не побежали назад. Зато матери после этого стали слабыми.

Ты видел, мой мальчик, слабых женщин? Если еще когда-нибудь встретишь, то не смейся над ними: эти женщины всю свою силу отдали таким же детям, как ты.

И вот слушай дальше. Когда Нептун увидел, что юноши выдержали натиск тяжелого вала, он дико засмеялся и злобно закричал женщинам:

— Пусть ваши сыновья устояли против моей силы здесь, на берегу, но в море я порву им руки!

Женщины опять задумались: да, царь морской и это сделать может, у него крепкие жилы из манильских трав.

Пока они думали, на поверхность воды вышли дочери морского царя. Они, как и отец, были некрасивы. Вышли дочери Нептуна и сказали:

— Женщины, отдайте нам свою красоту: за это мы достанем со дна моря креп-

кой манильской травы, совьем из нее жилы для ваших сыновей, и руки у них будут такие же крепкие, как у нашего отца.

Женщины сразу согласились и отдали дочерям морского царя свою красоту.

Если, дорогой мальчик, ты увидишь где-нибудь некрасивую женщину, не отворачивайся от нее, знай, что она пожертвовала своей красотой ради детей.

Когда царь Нептун узнал о проделке дочерей, очень



разгневался он, выбросил их из моря и превратил в птиц чаек.

Ты слышал, мальчик, как чайки плачут над морем? Это они просятся домой, но жестокий отец не пускает их обратно и даже не смотрит на них.

Зато моряки на чаек всегда глядят и наглядеться не могут, потому что чайки носят красоту их матерей.

Юноши, почувствовав крепость в руках и силу в плечах, наконец вышли в море. Вышли они и пропали. Ждут-пождут матери — не возвращаются сыновья.

Появился опять перед женщинами Нептун и громко-громко засмеялся. От его смеха даже волны заходили по морю.

— Не дождаться вам теперь сыновей! — хохотал Нептун.— Они ведь блуждают. Вы и позабыли, что на море нет дорог и тропинок.

И опять он закатился в страшном смехе.

Тогда женщины воскликнули:

— Пусть будет в наших глазах меньше света и пусть над нашей землей еще ярче загорятся звезды, чтобы сыновья нашли по ним дорогу к родным берегам.

Только сказали женщины так, в небе сразу ярко-ярко заблистали звезды. Юноши увидели их и благополучно вернулись домой.

Вот почему, мой друг, моряки сильны и непобедимы: матери отдали им все лучшее, что имели.

СОДЕРЖАНИЕ

Панькин И. Ф.

П16 Сказки и легенды/Худож. А. Макаров. — Тула: Приок. кн. изд-во, 1982.— 191 с., ил.

В сборник тульского прозаика вошли «Легенды о мастере Тычке», дополненные новыми произведениями, и «Матросские сказки, легенды и шутки».

П $\frac{70302-03}{М154(03)-82}$ 00.82. 4702010200 Р2



ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

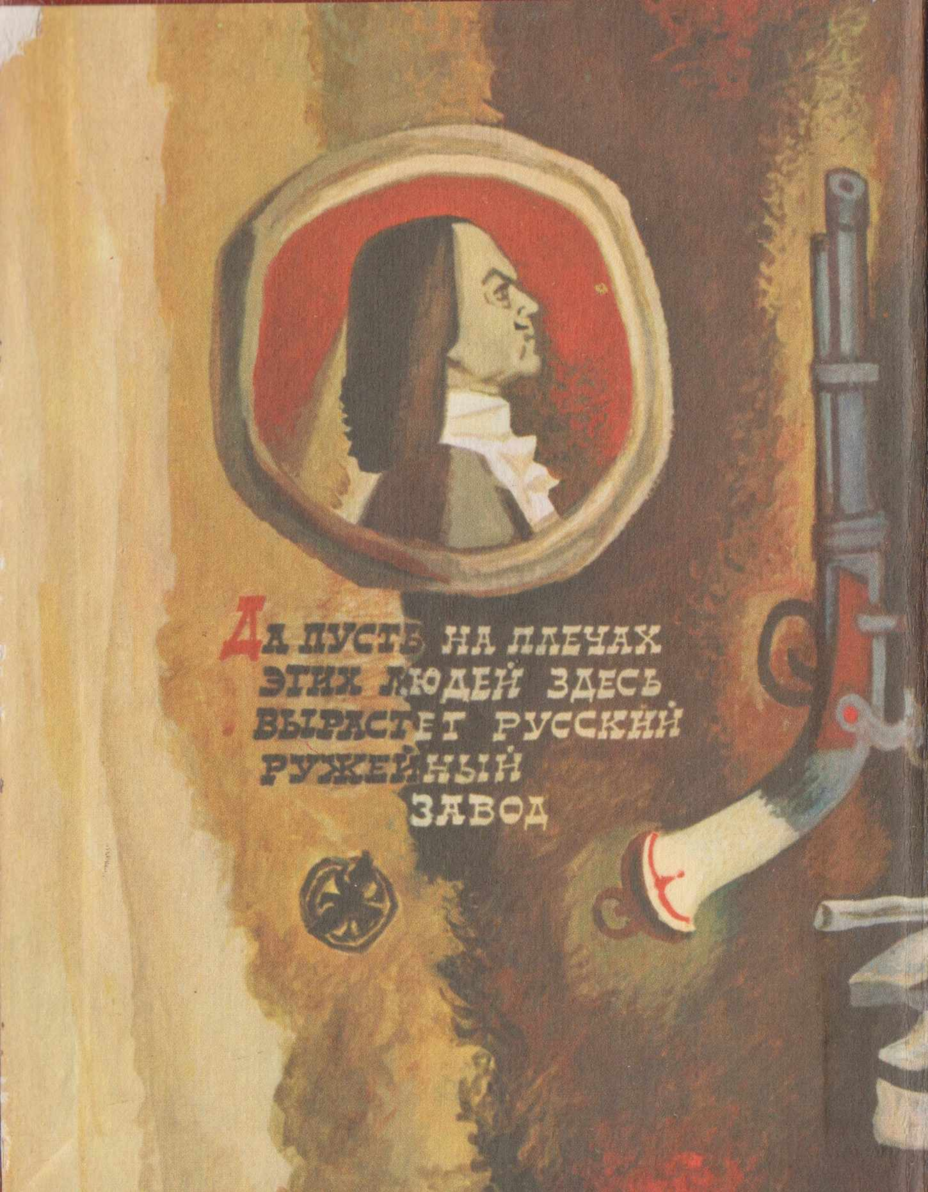
Иван Федорович Панькин

ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ

Редактор В. В. Копцова
Художественный редактор В. С. Корнеев
Технический редактор М. В. Аршинова
Корректор Н. Г. Проплетина

ИБ № 1059

Сдано в набор 15.04.81. Подписано к печати 23.11.81. ЦП 00141. Формат бум. 70×108/32. Офсетная № 1. Академическая гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 8,4. Уч.-изд л. 7,87. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1030. Изд. № 3. Цена 40 к. Приокское книжное издательство, 300 000, г. Тула, Красноармейский пр., д. 25, кор. 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. г. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.


Да пусть на плечах
этих людей здесь
вырастет русский
ружейный
завод


Когда родился Тычка,
про то никто толком
не знает

40 коп.